

РЕДКАЯ КНИГА
КНИГА • РЕДКАЯ
РЕДКАЯ КНИГА



РЕДКАЯ К
КНИГА • РЕ
РЕДКАЯ



Всеволод Крестовский

Очерки кавалерийской жизни

«Public Domain»

1892

Крестовский В. В.

Очерки кавалерийской жизни / В. В. Крестовский — «Public Domain», 1892

В. В. Крестовский (1840-1895) – автор одного из популярнейших романов XIX в. – «Петербургские трущобы». Менее известно, что из-под пера Крестовского вышло много книг на военные темы, в том числе «Очерки кавалерийской жизни», раскрывающие «физиологию» армейской службы в мирное время в отдаленных гарнизонах. Книга написана богатым, сочным, персонифицированным и не лишенным юмора языком. Автор затрагивает многие проблемы армейской жизни, обострившиеся в наше «смутное» время.

Содержание

I. От штаба до зимних квартир	5
1. Сборы и проводы	5
2. На первом переходе	19
3. На ночлеге	34
4. Приход в Свислочь	40
II. Базарный день в Свислочи	50
Часть 1	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Всеволод Владимирович КРЕСТОВСКИЙ

ОЧЕРКИ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ЖИЗНИ

I. От штаба до зимних квартир

1. Сборы и проводы

Ваше благородие, вахмистр пришел.

– Зови его сюда.

Входит эскадронный вахмистр – солидная, солдатски представительная фигура – и останавливается у двери.

– Здравствуй, Андрей Васильевич! Что скажешь?

– Здравия желаю, ваше благородие! Так как теперича, ваше благородие, завтра выступать, так майор просят вас, чтобы вы изволили эскадрон отвести, по той, собственно, причине, как они сами изволят еще в городе оставаться – потому не здоровы-с, – так просили, чтоб вы уж за них.

– Хорошо. Передай майору, что будет исполнено.

– Слушаю-с. Больше ничего приказать не изволите?

– Больше ничего... Разве вот что: Степан, поднеси вахмистру стаканчик водки!

– Покорнейше благодарим, ваше благородие!

Водка подана и охотно принята с вежливо-церемонной деликатностью.

– За ваше здравие-с! – И стаканчик разом опрокидывается в широкую вахмистерскую глотку.

– Счастливо оставаться, ваше благородие!

– Прощай, Андрей Васильич!

Солидная фигура степенно скрывается и осторожно притворяет за собою дверь.

Итак, завтра на зимние квартиры. Выступать в восемь часов утра, стало быть – надо проснуться в шесть, а теперь первый час Дня: времени, для того чтобы изготавиться, очень достаточно, тем более что офицерские сборы не велики: походная складная кровать с кожаной подушкой, чемодан с бельем и платьем, ковер как неизменное и даже необходимое украшение офицерского бродячего быта да еще походный погребец; ну, да пожалуй, ружье да собака – вот и все хозяйство! Но в этом хозяйстве, знаете ли вы, что достопримечательней всего? Это именно погребец, характерные образцы которого, кажись, только и можно встретить в быту армейского офицера, потому что кому же он надобен, кроме человека, обреченного на вечно бродячую жизнь? Таким образом, из «русской» лавки любого ярмарочного балагана этот неизменный, традиционный погребец переходит непосредственно в офицерские руки. Представьте вы себе маленький сундучок, менее аршина в длину, около трех четвертей в ширину, обитый оленьей шкурой, окованный жестью, с непременно звонким внутренним замком, – а между тем в этом скромном вместилище чего-чего только не заключается! Тут и кругленький походный самоварчик на четыре стакана, миниатюрные экземпляры которых помещаются рядом, тут и медная кастрюлька, крышка которой, в случае надобности, может заменить собою и сковороду, для чего при ней имеется и железная ручка. Тут и мисочка для похлебки, и четыре тарелки: две мелкие и две глубокие; тут и чайник, и чайница, и сахарница, и солонка, и перечница, и чернильница с песочницей, и два больших штофа со щегольскими пробками – «аплике», и все это накрывается подносом, прилаженным к крышке, в которую вправлено еще и небольшое зеркальце. Но все это богатство составляет только верхний этаж офицерского погребка: при-

поднимите за ушки вкладное вместилище всей этой роскоши – под ним окажется этаж нижний, где имеются отлично прилаженные помещения для пары ножей и вилок, двух столовых и четырех чайных ложек, для салфетки и полотенца, для карандаша с пером и ножом перочинным, для гребешка и бритвы и даже... для сапожных щеток. Так вот что за штука этот походный погребец – незаменимый и неизменный друг и товарищ армейской жизни! Как разложишь все его богатства, так просто изумляешься: где и каким образом может вместиться столько разнообразных вещей в таком маленьком сундучке, с таким тесным объемом, а между тем все это вмещается, все это так искусно, так ловко пригнано и прилажено, что просто не хочется верить, будто погребец не есть изобретение какого-нибудь аккуратного немца, а чисто наше «рассейское».

Итак, почти все наше хозяйство заключается в этом мудреном погребеце, а для остальных вещей – небольшой чемодан или выюк – и готово! Сборы в поход никоим образом не займут более получаса времени. Но все-таки надо кой о чем подумать: во-первых, нанять пароконную подводку под вещи, потому что поход хотя и не велик, но все-таки продолжается трое суток; во-вторых, надо заказывать в трактире жареную курицу, да жареного поросенка с фаршем, да штук тридцать пирожков с капустой на придачу, потому что без этих необходимых запасов рискуешь на пространстве всех трех переходов не найти ровнехонько ничего из удобосъедомого.

Но курица с поросенком – это пустяки: заказать их недолго, а главное дело, чтобы подводку повыгоднее нанять. Отправляемся на почтовую станцию, где встречает нас приказчик содержателя конной почты. Приказчик «из наших», со всеми характерными отличиями физиономии, запаха и костюма. Объявляем ему нашу надобность.

– Сшkolки коней ви гаворитю? – вежливо и любезно прищуривает он глаз.

– Пару.

– Па-ару?.. Ну, й зачэм вам пару! Берить тройка! Увсше гхаросши гаспида заусшигда на тройка ехают и з калаколчик. Ми вам будзим одпусшкаць сшми лучши курьерсшки тройка!

– Мне нужно не под себя, а под вещи мои.

– Под виешу?.. Ну, то мозже какой гхаросший виешу, гхурсштал, чи то фаянцы?.. А под гхаросши виешу нада гхаросши кони.

На этот аргумент ему категорически объявляется, что если спрашивают пару, то, стало быть, только и нужна пара, а не тройка.

– Н-ну, як пара, то хай и пара!.. Мозжно й пару! Зачэм ниет?..

А докуда васше благородю ехать будете?

– В Свислочь.

– До Сшвисшлочь?.. до сшми Сшвисшлочь!.. А зачэм так далока? зачэм до Сшвисшлочь?

– Затем, что там эскадрон стоять будет.

– Сшквadro-он?.. Вуляньски сшквadroн?

– Ну, конечно, уланский.

– А!., гхэта доволна гхарасшьо!.. Там ест мадам Янжелёва, сшвой ляфка дэржит з рижской вина и з увсшеким припасом; ей будзиць гхаросший гхандел... Но толки зжвините: ви гаворитю, сшто сшквadroн исцо не сштаиць, а толки будзиць сштаяць?

– Да, будет.

– Ну, як исцо толки будзиць, то лепш бэриць кони до Сшкидел, бо у Сшкидел вже стаиць.

– Куда ж, любезный друг, в Скидель?! Скидель вон где, а Свислочь эва куда! Совсем в другую сторону!

– Зжвините, але зж и на Сшкидел тозже вуляны сштаяць, и тозже цалы сшквadroн.

– Да, только там четвертый, а наш – первый.

– Н-ну, и сшто таково, сшто читворты, сшто пэрви, кахгда ж то ни увсшэ равно?!. Увсшэ равно такой зже гхаросши сшквадрон и такой зже вулянскый!.. Але ж до Сшкидел толки двадцявсшюм вэрстов, а до Сшвисшлочь восшимдесшют, а мозже й цалы сшто, а мозже й болш як за сшто, бо вэрсту там не миеренной... И сшто вам за агхота ехаць так очин далока?!.

– Ну, уж это не твое дело рассуждать! Я тебя спрашиваю, сколько возьмешь за пароконную бричку в Свислочь?

– Ой-вай! Сшто ж из вас увзяць?.. Ми не задорого – ми по сшовестю: двадцацьпяць щилковых.

– Что такое? Двадцать пять целковых?! Да ты ошалел?!.

– Ниет, то мозже исцо мой папэньку сшалел, а ми взже здаровый!.. Менш – дали-Бугх! – не можна!.. А ни яким сшпасобем не можна!

Начинается торг продолжительный и упорный. Еврей спускает понемножку и все убеждает брать коней до Скиделя – «бо каб до Сшкидел, то можна й за дванадцять, а то и за дзе-сенць рубли», но после переговоров, длящихся по крайней мере полчаса, в течение которых жид пробует поддеть вас и так и эдак: то льстя самолюбию, то даже устыжая: «Фэ! Такой гхаросший, такой богатый, але ж такой сшкупий гасшпидин!» – дело наконец слаживается на двенадцати рублях с кормом коней и довольствием ямщика от нанимателя.

Итак, поросенок заказан, кони поряжены, вещи уложены – стало быть, все уже готово! Слава тебе, Господи! Можно, значит, съездить к кой-кому из хороших знакомых и проститься.

У солдата сборы гораздо короче, а если и замедляются они несколько, то разве тем, что иной из них отпросится у вахмистра в город на базар, купит себе что-нибудь необходимое в его личном хозяйстве: какие-нибудь шерстяные вязанные перчатки или носки, каких-нибудь ниток, иголок, воску да костяшек, если он портной, какой-нибудь дратвы да вару, если сапожник, да разве еще какой-нибудь ярко-пестрый ситцевый платок в подарок старой знакомке – будущей своей «зимовой хозяйшке», которая была уже его хозяйшкой и в прошлую, и в позапрошлую зиму. А уходя с осеннего постоя, он все свое незатейливое имущество упакует около седла, под попонку, на что времени потребуется ему не более десяти-пятнадцати минут, и потому солдатская укладка начинается уже в самое утро выступления, перед седловкой. С кумом каким-нибудь он простился еще с вечера, причем кум угостил его крючком водки, а добрая кума – буде есть такая – еще накануне выстирала ему сорочку, заштопала порты и приготовила кусок свиного копченого сала как прощальный гостинец на дорогу, чтобы солдат не забывал ее до следующей осенней стоянки.

Некоторые затруднения случаются только для старшего вахмистра, и происходят они вот отчего: стоит эскадрон, положим, хоть на осенних квартирах, во время осеннего полкового сбора, недель шесть или около двух месяцев в какой-нибудь деревушке, поблизости полкового штаба. При выступлении эскадрону надо получить от старосты квитанцию, что обыватели к солдатам никакой претензии не имеют; но крестьяне, иногда справедливо, а иногда и облыжно, непременно заявляют кляузные претензии: у Ясюка, мол, огород потоптали, а у Мацея шлея да два куля соломы из сарая пропали, а у Криштофа из-под хмелю тычины не весть куда повыдерганы – все это суть претензии, которые следует удовлетворить, потому что не наряжать же формального следствия из-за Мацевых кулей да из-за Криштофовых тычин, когда завтра на рассвете эскадрону выступать из деревни. Значит, вахмистру надо помириться, чтобы получить квитанцию. А как помириться – дело известное. И староста с сотским, и Мацей с Ясюком очень хорошо уже, из долгого житейского опыта, знают способ этого мира. Они знают, что вахмистр любезно и дружелюбно зазовет их в корчму, поставит им две или три кварты водки; Мацей с Ясюками напьются, покалякают, посчитаются кто чем, прослезятся и скажут: «А бувайце здоровеньки, брачики! Вертайтесь до нас, да каб паскарейш!.. Дай вам Боже вяслы пуць! Працавайце!» – и эскадрон расстается приятелем со всеми Ясюками и Криштофами,

все претензии которых, настоящие или мнимые, в сущности заключаются лишь в получении дарового угощения двумя-тремя квартами водки.

В ночь перед выступлением солдат просыпается очень рано. Еще небо темно и играет яркими звездами или подернуто мгlistым, холодным сумраком; еще вторые петухи только что начинают голосисто перекликаться между собою с разных концов погруженной в глубокий сон деревни, а уже солдатик, зевая и бормоча про себя: «Ох тих-тих-ти-их... Господи Иисусе Христе!» – протирает кулаком глаза, натягивает сапожища, набрасывает на плечи шинель и по хрусткой, заморозковой почве пробирается через двор к конюшне, где, мерно хрустя зубами и изредка пофыркивая, стоит его конь в ожидании утренней уборки. В ночь перед выступлением солдату обыкновенно плохо спится: все кажется, даже и во сне, что не успеешь убраться, что проспешь тот час, когда, идучи вдоль сонной деревни, эскадронный трубач на старой, дребезжащей трубе зычно и отчасти фальшиво протрубит в ночной тишине знакомые звуки генерал-марша:

Всадники-друзи, в поход собирайтесь!
Радостный звук нас ко славе зовет:
С бодрым духом храбро сражайтесь! –
За царя, родину сладко нам смерть принять!
Седлай!

Но долго еще до того времени, когда вслед за высоким финальным звуком трубы повторится громко и долгозвучно на всю деревню команда взводных вахмистров: «Седла-а-ай!»

А между тем солдатик уже встал, осмотрел лошадь, зачистил ее, задал гарнец утренней дачи, заложил сена и покрыл попоной в ожидании этого зычного вахмистерского окрика. Потом тут же на дворе умыл руки и лицо посредством самого простого, незатейливого способа: набирая себе в рот воды из глиняного хозяйского кувшина. Вода холодна и дерет ему кожу, но это ничего: дело здоровое! А умывшись, солдатик становится еще бодрее; стал степенно, лицом на восток, где еще и не думает сереть белесоватая полоса восхода, и, осеняя себя широким крестным знаменем, шепчет свою тихую молитву. Пока он справился с лошадью, пока сам умылся, Богу помолился да приоделся, – глядь: прошло часа полтора времени. Третьи петухи поют; на востоке чуть-чуть засерело, хотя звезды блещут и мигают все также сильно и светло в темной глубине неба, а кое-где по избам у иных добрых хозяев уже яркий огонь в печи затрепал; по деревне дымком потянуло; замычал теленок в каком-то хлеву; заскрипел «журавель» над колодцем – и пустая бадья звучно ударилась в глубине криницы об сонную и вдруг забулькавшую влагу... Голоса слышны кое-где; по конюшням фыркают кавалерийские кони и гулко бьют копытами промерзлую землю. Эскадронная собачонка Шарик с закорюченным хвостиком весело затыкала и, обнюхиваясь, резво побежала вдоль по деревне вприпрыжку, подрыгивая слегка где-то пришибленную заднюю ногу. Там и сям около хат и сараев чаще замелькали солдатские темные фигуры, в полутьме похожие на какие-то бродячие тени. В низеньких, крошечных оконцах засветились огни – деревня мало-помалу проснулась. И дымком тянет по низу сильнее и гуще.

Прошло еще около часу – и вот трубач пошел вдоль по деревне, с одного конца до другого. Раздались резкие, дребезжащие звуки – генерал-марш будто бы будит солдатиков, а они все и без него уж давным-давно проснулись. И не успел еще затеряться за ближним пригорком в холодном предрассветном воздухе издали слышимый высокий звук трубы, как уже с четырех концов деревни почти разом раздается эта знакомая и давно ожидаемая команда: «Седлай!» – и солдатики вмиг засуетились.

В конюшнях – слышно – то там, то здесь фыркают, храпят и бьются седлаемые кони, раздаются обращаемые к ним возгласы:

– Но-о, ты!.. Куда-а?!.. Смирно!.. Ы! леший!.. Сто-ой!..

– Шклянник! Подержитка-сь, братец, свою Баранесу! Мешает, подлая: зубам балуется...

– Бочаров! Куды-те, дьявол, щетки мае задевал? Отдай щетки-то!

– Трохименко! Прячьте, пожалуйста, ваш недоуздок – валяется!

А в это время взводные вахмистра похаживают по конюшням да подбадривают:

– Но-но, ребятки!.. Встрепохнись, ворошись!.. Живо, живо, братцы! Живея! И то, вишь, сколько запоздали!.. Ну-ну, не копайси! Чтобы в секунт!

Но «ребятки» не копаются: они и без поощрений, уж сами по себе «в секунт» готовы, – и вот, то с того двора, то с этого, полязгивая тяжелыми саблями, сходятся к сборному пункту, то есть к вахмистерской квартире, одиночные всадники, ведя коня в поводу и вольно положив на плечо пику.

Андрей Васильевич в это время давно уже «встамши» и наскоро чайком заниматься изволят.

Вот зашли к нему взводные доложить, что люди, почитай, готовы, а он их чайком:

– Карп Макарыч! Илья Степаныч! Кушайте, пожалуйста!.. Без сумления!.. Наливайте-тка! Да только, значит, поскорее!

Взводные наскоро втягивают в себя горячий, дымящийся чай, кто из стакана, кто из чашки, кто из кружки, – обжигают себе при этом глотки, морщатся, пучат глаза, но это ничего, потому вахмистерский чай, известно, дело горячее.

Но вот вахмистр выходит ко фронту.

– Все ли в сборе, ребята?

– Все как есть, Андрей Васильич!

– Никто ничего не забыл?.. Осмотритесь-ко!

– Все как есть, при себе... будьте без сумления!

– Ну, ладно!.. Садись!!

И фронт заколебался: солдатики ловким взмахом взбираются на тяжело завьюченных лошадей, из ноздрей которых пар валит клубами. Слегка прозябшие кони нетерпеливо фыркают и бьют копытами заскорузлую землю. Вот наконец все сели и разобрали поводья. Вахмистр снял шапку и крестится – весь эскадрон тоже креститься начинает.

Около кучки баб и мужиков староста с сотским, опершись на свои дубинки, да несколько мальчишек, спрятав прозябшие ручонки в спущенные рукава холщовых сорочек, любопытно посматривают на всю эту процедуру.

– Ну, братцы, с Богом! – раздается голос вахмистра. – Смирно! Справа по три, шагом... ма-а-рш!

И эскадрон тихо двинулся, слегка колебля над своею темною массой легкие флюгера, в серовой мгле рассвета.

Мальчишки вприпрыжку, звонко перекликаясь между собою, провожают его и задирают эскадронного Шарика, который тоже вприпрыжку на трех своих ногах, с веселым, радостным лаем и визгом швыряется во все стороны, то кидается между рядами, то забегает вперед и, вертя своим закорюченным хвостиком да скаля зубы, ласково засматривает лошадям и людям в глаза, словно бы говоря им этим взглядом: «Ну, вот, братцы мои любезные, и опять дождался походу!.. Да взгляните же на меня, на Шарика-то! И я ведь вместе с вами! Никуда от вас! Привел Господь Бог, значит, опять прогуляться; только – ай, ай! – целый переход придется без кормежки в сухую отмахать!.. И-их ты! весело!..»

И люди, и кони словно бы понимают Шарика: первые улыбаются ему, а вторые ласково пофыркивают, мотая на него книзу головами, и вдруг осторожней начинают переступать, как бы нарочно для того, чтобы невзначай не задеть его копытом, когда Рн вдруг затешется и заезжит между рядами.

Староста с сотским, убагадушенные вчерашним вахмистерским угощением, отправились, опираясь на свои дубинки, провожать эскадрон далеко за околицу, а с другой стороны рядов увязалась за одним видным, красивым солдатиком какая-то молодая бабенка и, выпятив корпус вперед, поспешает босиком за лошадиным ходом, лишь бы не отстать от своего солдата. Бабенка закрывает глаза рукою и всхлипывает.

– Не плачь, дура, чево ты! – обернувшись на нее книзу, говорит ей красивый солдатик. – Ну, чего ж ты! Ведь сказано, назад вернемся!

– О-ой, саколику мой! – слышен в ответ на это сквозь всхлипывания прерывистый, надорванный от слез женский голос.

– Эка бесстыжая!.. Полно-те, не срамись!.. При людях сама бежить, а сама плачить!.. Право, стыдно!.. Аль с утра ужхватила, что ли?.. Рабята смеяться будут.

– Ничего, пушай ее! – толерантно замечает сосед. – Известно дело: покутница, солдатка...

– Ой, салдатка, салдатка, голубонько мой! – сквозь слезы, ни на кого не глядя и все продолжая закрывать глаза рукою, навзрыд голосит бабенка. – Може й маво саколика гдысь-то проводзаетхось так само!.. Быу, та и узяли, у москалики пайшоу, и сама одна zostалася!.. О-ой, саколику мой ясны!..

– А ось пачакай, пачакай, быдло ты! Я це кием! – грозит на нее своею дубинкою солидный сотский.

Но покутница знай себе воет.

– Ну, дура, не плачь, говорю! – продолжает время от времени увещевать ее красивый солдатик. – Ведь ничего не поделаешь!..

Назад вернемся, так я те хустку червону подарю... Не плачь же! Срам ведь!

– Ничего! – опять-таки отвечает на это сосед. – Пушай ее!..

Потому, известно – любоф!

Но вот, и староста с сотским, откланявшись в последний раз «до забаченья», понуро повернули назад к деревне, и покутница-бабенка отстала от конского шага, утомясь наконец от быстрой ходьбы босыми ступнями по холодной, жестко замороженной почве, – и эскадрон мало-помалу всею своею темною, колеблющеюся массой скрылся за горою, по направлению к городу, в легком морозном тумане занимающегося утра.

Рассчитывая, что завтра придется пораньше встать, я нарочно раньше лег в постель и, по обыкновению, на сон грядущий стал пробегать столбцы первой попавшейся под руку газеты. Было уже более двенадцати часов, когда в прихожей раздался авторитетный звонок, обыкновенно обозначающий своею силой приход кого-нибудь из товарищей, – и точно: через минуту в спальню ввалились с топотом и веселым шумом адъютант с квартирмейстером.

– Как!., уже в постели? Что за безобразие! Эдакая рань еще, а он спать! – раздались их возгласы. – Мы, брат, к тебе прощаться пришли – «принимай гостей, покидай постель»!

– Вас бы нелегкая еще попоздней принесла: чем же я теперь кормить вас буду?

– Все, что есть в печи, – все на стол мечи!

– Было бы что метать-то! Трактиры наши, сами знаете, в эту пору уж заперты.

– Не в трактирах дело, а в хорошей беседе! Чай дома есть?

– Разумеется.

– И выпить найдется что-нибудь?

– По обыкновению.

– Ну, а хлеб да соль у денщиков отыщем, – значит, аминь тому делу!

Однако я распорядился, чтобы человек побежал поскорее в ресторан и попытался бы там достучаться да добыть чего ни на есть из съестного, хоть холодного ростбифу, что ли.

– Вот это правильно, – подхватил адъютант, – потому что не о едином хлебе сыт будет человек, но и о ростбифе.

Пока один денщик побежал в трактир, другой стал возиться около самовара, раздувая его по денщицкому обыкновению длинным голенищем походного сапога.

– А где Апроня? – осведомился адъютант о моем сожителе, которого добрые приятели попросту звали между собою этою интимною кличкой.

– А где ему быть? По обыкновению, в театре пропадает.

– И все подышает по Эльсинорской? С актрисками возится?

– Подышает...

– А лихо она, черт ее возьми, канкан танцует!.. И куплеты сказывает не без шику!

– Тем и берет. Впрочем, девочка добрая...

Завязался обыкновенный офицерский разговор: о лошадях, о манеже, о начальстве, о женщинах, о ростовщике-еврее и его процентах, да о романе «M-II Giraud – ma femme».

В это время раздался новый звонок – и после некоторой возни в прихожей вошел мой сожитель Апроня.

– А я, брат, с актрисками, – проговорил он таинственным полупшепотом, на цыпочках шагая ко мне своими длинными ногами и подавая нам руки.

Мы все невольно рассмеялись.

– Где ж они и много ль их?

– Здесь вот! – И он кивнул по направлению к нашей офицерской гостиной и кабинету. – Целая тройка! И есть мы все хотим, как сорок тысяч братии хотеть не могут.

– Целая тройка?!.. Что ж там больно тихо у них, никакого гвалту не слышать?

– Пойдите: разойдутся еще... Вот городишкого мерзейший! – с досадой продолжал Апроня. – Только что спектакль кончился. Думал поужинать; толкнулся к Роммеру – залерто, к Шестаковской – заперто, к Вездненскому – тоже заперто!.. Тфу ты!.. Вот и живи тут!.. А они есть хотят; Варвара Семеновна даже и не переодевалась: как играла, так дебардером и поехала; торопились, думали – авось не запрут, а не тут-то было!.. Ну, уж город! В двенадцать часов хоть с голоду помирай!.. Я вижу это, что и есть-то им хочется, да и прозябли, катаются со мною за пищей; ну, что ж тут, думаю... «Поедьте, mesdames, говорю, к нам: авось что-нибудь и отыщем». Ну, вот и приехали! Найдется, что ли, у нас-то хоть что-нибудь?

– Да что вы там заперлись? – раздалась веселые и нетерпеливые голоса за запертой дверью. – Прикажете хоть огня-то подать... Мы в потемках!

Я велел мигом зажечь лампы, затопить камин и давать поскорее чаю, а сам живо оделся и явился к неожиданным гостям, которые уже весело тараторили с моими товарищами, вышедшими к ним по первому зову.

Я нашел в своем кабинете уже довольно оживленную картинку: большая лампа под розовым колпаком наполняла всю комнату мягким матовым светом; сухие дрова уже весело трещали в камине; две актрисы, Каскадова и Радецкая, обе очень миловидные и веселые женщины, – напялив фехтовальные перчатки и упрятав свои головы под сетчатые маски, стояли посередине комнаты в самых воинственных позах и затеяли между собою преуморительный бой на эспадронах, к немалому соблазну лягавого щенка, который, весело таявкая, гонялся то за одной, то за другой, игриво теребя их шлейфы; а страсть моего сожителя – девица Эльсинорская, одетая мальчишкой в шикарный костюм дебардера, в котором она только что играла в театре роль Леони в известном буфе «Все мы жаждем любви», – сидела за пианино и, как-то ухитряясь в одно и то же время перекидываться словцом-другим в общей болтовне и аккомпанировать себе бойкими аккордами, напевала шикарный куплетец:

A Provins
On recolte des roses
Et du jasmin et lies tra ta-ta-ta,
Et beaucoup d'autres choses!

Звуки свежего голоса, смех и возгласы двух бойцов в юбках, их оживленные личики с яркими щеками, с которых не успел еще сойти густой румянец, наведенный на них морозным холодком, потом этот лязг стальных эспадронов, веселое тьяканье щенка и треск ярко пылающих поленьев – все это казалось так ярко, весело, молодо, свежо, все дышало такой беззаботной и беззаветной жизнью и удовольствием, что я нимало не пожалел о том, как теперь, ввиду завтрашнего похода, пришлось подняться с постели в час ночи вместо шести утра, и был очень доволен этим внезапно импровизированным набегом на мое обиталище.

– Однако соловья баснями не кормят! – воскликнул мой сожитель. – Что же, в самом деле, есть у нас что-нибудь есть?

В эту минуту вошел денщик мой, которого посылал я в трактир на фуражировку.

– Вот тебе и живой ответ на твой голодный вопрос, – сказал я, указывая на него Апроне. – Ну, что, Степан, что скажешь?

– Заперто, ваше благородие.

– Тфу ты! – с досадой топнул сожитель. – Ты б разбудил их!

– Я разбудил-с; только повара у них все разошедшись и огонь погашен, а буфетчик пьян-с; иначе ж я, взявши его деликатно, значит, за шиворот, препроводил в кладовую и нашел четыре холодных каклетки-с.

– Только четыре?! – вскричали мы с ужасом.

– Только-с, – отвечивал невозмутимый Степан.

– Ну, господа, утешительного мало!

– Так точно, ваше благородие, я и сам думал, что мало, и для того толкнулся этта у нас внизу к евреям и добыл у них два куска жидовской щуки маринованной.

– Четыре котлетки и два куска жидовской щуки! Значит, положение наше еще не так отчаянно! Фонды подымаются!.. Ну, а дома не найдется ли еще хоть чего-нибудь из перекусок?

– Амар-с есть! – доложил Степан. – Копченая корюшка есть... сыру небольшой кусок оставшись... да еще с полбанки пикулей найдется.

– Так что же ты молчишь-то, голова!.. Живо тащи все это сюда... Живо!

– Каштаны тоже есть, ваше благородие! – вспомнил он, уходя уже за дверь. – И фрухта есть...

– Какая фрухта?

– Груши-с. Штук с десятков будет.

– Каштаны и груши! Пикули и омар! А ты говоришь, что ничего нет съедобного! Варвар ты эдакой!

– Так нетто, ваше благородие, все это съедобное? – недоверчиво ухмыльнулся мой Степан Григорьевич.

– А что ж, по-твоему?

– Так, малодушие одно... баловство, значит.

Однако наши жрицы Талии и Мельпомены настолько проголодались после длинного спектакля, что не сочли малодушием ни пропитанных каенским перцем английских пикулей, ни каштанов, которые они тотчас же стали печь в камине и преуморительно таскать их из полья концами эспадронов.

Омар и копченая корюшка, котлеты и жидовская щука, пикули и ломти ржаного солдатского хлеба (за невозможностью достать лучшего) – все это исчезало с тарелок с быстротой вполне похвальной, как вдруг раздался звонок паки и паки, и вслед за тем вошли еще четверо товарищей.

– А мы на огонек! – объявили они. – Видим свет в окнах, слышим звук унылый фортепьяна – и зашли!

– Откуда Бог принес?

– От Колотовичей – там нынче вечер коротали на английском чае... Нет ли, господа, хоть рюмки водки-то?

– Есть!.. Только вот насчет закуски уже скудно стало!

– А твой походный поросенок с курицей?

– Увы! Поросенка с курицей принесут от Роммера только завтра к семи часам!..

– Баше благородие! Картошка есть у нас! – возгласил вдруг Степан Григорьевич, как вестник спасения появляясь у двери.

– Что за картошка такая?

– Сырая-с. Только, значит, сичас молено сварить, а потом на сковородке поджарить, потому как у меня еще остался кусок сала свиного и цибулька-с... давеча мы с Аникеем для себя брали... так, значит, этта, можно поджарить со шкварками и с лучком-с. В один секунт будет готово!

– Картошка!.. Браво! Давай сюда картошку! – захлопали в ладоши наши дамы. – Душки, mesdames, давайте сами варить картошку! Это, душки, прелюбопытно будет!

Степан принес кастрюльку и лукошко картофеля. Девица Эль-синорская, засучив рукава своей бархатной курточки и фартуком подвязав вокруг талии столовую салфетку, принялась за стряпню: отбирала лучшие картофелины, обмывала их в воде, прополаскивала и укладывала в кастрюльку. Девица Радецкая резала на мелкие кусочки свиное сало, а Каскадовой выпала наигоршая доля: морщась от лучного запаха, летучий эфир которого до слез ел глаза, она крошила в тоненькие колечки головку цибульки, к затаенной потехе моего Степана, который с явным, хотя и безмолвным скептицизмом относился к мудреной стряпне «барышень-актерок». Но барышни-актерки – худо ли, хорошо ли – дело свое справляли довольно споро. Наполненная доверху кастрюлька уже кипела на таганке, а Эльсинорская, присев на корточки перед камином, усердно подкладывала железным прутом каленые уголья и головешки под кастрюлю, – и картошка, при таковых стараниях, поспела довольно скоро. Живо ее облупили, еще живее искрошили с помощью вилок, пересыпали луком и салом, посолили, перемешали всю эту кутерьму, выложили на сковороду и отправили снова в камин на ту же самую таганку, но теперь уже не вариться, а жариться. Девица Эльсинорская, вся покрасневшая, как рак, от двойного жара огня и собственного усердия, вся озаренная с лица ярким, перебегающе багровым светом полымя, с папироской в зубах, все так же сидела на корточках и, пошевеливая сковороду, то и дело ворошила вилкой картофельное крошево, чтоб оно получше прожаривалось да побольше румянилось.

– «Красотки-гризетки совсем не кокетки!» – под аккомпанимент шипящего сала напевала она сквозь зубы, сжимавшие дымящуюся папироску.

– Аи, душки, страсти какие! – с ужасом вскричала дебелая Каскадова, с гримасой нюхая свои пальцы. – Аи, какие ужасы! Руки просто страх как луком воняют... Господа, нет ли одеколону у вас? Бога ради, выручите меня поскорей, а то юнкер Ножин и ручек мне больше целовать не будет!

Девица Каскадова – кстати или некстати сказать – была идеально, бескорыстно неравнодушна к юнкеру Ножину, очень стройному и красивому мальчику.

Одеколон, и вода, и мыло, и полотенце явились к услугам ручек девицы Каскадовой, которым угрожала столь серьезная опасность, а между тем и жарено Эльсинорской поспело. Хотя, вытаскивая его из камина, она и начадила на всю комнату, так что пришлось все форточки раскрывать, однако же стряпня ее, вопреки ожиданиям скептического Степана, оказалась превкусною. Эльсинорская была очень довольна и своим кулинарным искусством, и отданною ей данью справедливости и похвал и все уверяла, что картофель, зажаренный таким образом, называется картофелем а la Pouchkin. Девица же Радецкая, горячо споря с нею, доказывала, что «вовсе не а la Пушкин, а а la шустер-клуб, душка», потому что сама она сколько раз в летнем петербургском шустер-клубе едала картофель, приготовленный точно таким же образом.

– Ну, а отныне пускай же он будет а la Эльсинорская! – порешил их спор голодный Апроня, запихивая за щеки изрядное количество картофельных крошек и заедая их ржаным солдатским хлебом.

Херес да petite Bourgogne, честер да груши отличным образом приправили наш внезапно импровизованный ужин. Апроня, подзвав человека, таинственно и многозначительно мигнул ему – и в ту же минуту раздался в комнате очень хорошо знакомый всем звук осторожно вскупоренной засмоленной бутылки. Шампанское зашипело и запенилось в стаканах, а вместе с ним улыбки и взоры, смех и разговор стали еще оживленнее.

– Господа, позвольте тост! – провозгласил, подымаясь, длинный Апроня. – За картофель а la Эльсинорская!

– И за картофель, и за самое Эльсинорскузо! За Варвару Семеновну! – подхватил кто-то из офицеров.

Компания перецокалась с виновницей тоста и выпила исправно как за картофель, так и за Эльсинорскую: да здравствуют и тот, и другая!

А там уже и пошло, и пошло...

– За ручки Каскадовой и за bouquet d'oignon, которыми они пахнут! – предложил один.

– За шкварки Радецкой! – изобрел другой.

– За Колумба, который открыл Америку! – подхватил третий. – Потому что, не открой он ее, мы бы не ели сегодня картофеля!

– За Фердинанда Кастильского и Изабеллу Арагонскую, потому что не дай они кораблей Колумбу, так Колумб, пожалуй, и не открыл бы Америку!

– Ну, господа, если уж Фердинанд с Изабеллой пошли в ход, – заметил кто-то из товарищей, – то, значит, следующий тост будет за Колумбовы корабли, а затем, чтобы быть последовательными, придется пить за испанский флот, а от испанского флота за флот вообще, а там за финикиян, за аргонавтов, за Ноев ковчег и т. д., восходя до самых прародителей, так уж чтобы скорее к делу, лучше начнем сначала, то есть с праотца Адама и праматери Евы.

– Скачок, мой друг, слишком велик, – заметили ему на это предложение. – Последовательность в этом случае лучше и почтеннее.

– Да, но в таком случае едва ли мы нынче дойдем до Адама.

– Ну, не дойдем, так доползем, даст Бог.

– О, нет, сомневаюсь: скорее же костями тут ляжем – мертвые бо сраму не имут! А за прародителей все-таки выпить надо! Кто, господа, поддержит мой тост?

– Я! – бойко подхватила Эльсинорская, ловко вспрыгивая с бокалом на стул. – Пью, господа, за праматерь Еву par excellence!..

И за древо познания добра и зла! – промолвила она, лукаво сверкнув на всех глазами.

– Браво! Это тост разумный! Потому что, не будь этого древа, мы не умели бы познавать ни добра, ни зла; и, следовательно, лишены были бы в принципе самой способности распознавать настоящий Редерер от тутейшей жидовской подделки! Итак, за древо познания добра и зла! Идет!..

– Ох, моя прелесть, уж коли так, то не выпить ли нам с вами, кстати, и за грехопадение! – шутливо вздохнул, обращаясь с бокалом к Эльсинорской, ее застольный сосед Апроня.

– Умные речи приятно и слушать! – рассмеялась она, чокнувшись с соседом так звонко и сильно, что даже несколько вина выплеснулось из их стаканов.

Оба они залпом осушили их. Эльсинорская сразу вскочила вдруг из-за стола, вприпрыжку подлетела к пианино, взяла несколько бойких аккордов, бегло проиграла веселый ритурнель в темп «мазурочки» и лихо запела своим задорным голоском:

Гой, вы улане – малеваны чапки!

Сёнде, поядонь до моей коханки!

Но особенно хорошо, грациозно и в то же время уморительно-комично у нее выходил следующий куплетец, который она не пела, а почти говорила – сначала расслабленно-болезненным, как бы умирающим голосом, а потом комическим, лукаво-смирненным тоном польского ксендза:

Панна умирала – ксендза сень пытала:
«Чи на там-тем евеци сон' улане пршеци?» –
Ксендз ей отповедзьял, же и сам не ведзьял,
Чи там сон' уланы, чи ксендзы коханы...

И все это вдруг, совсем неожиданно завершилось у нее лихим а эффектным мотивом начала:

Гей-гоп, улане! гол, мальваны чапки! Гоп! сёнде, поядон' до моей коханки!

Огненное *allegro* всей этой песни было пропето действительно прекрасно. В самом мотиве, в котором сквозь его бойкую веселость порой прорываются минорные, чисто славянски зазывающие нотки, было нечто искристое, вдохновенное, беззаветно удалое.

С последним своим сильно взятым финальным аккордом она живо вскочила с табурета при оглушительных «браво» и рукоплесканиях и комически присела всей публике, пародируя рутинную благодарность актрис со сцены. Оставленное его место занял мой сожитель, который вообще большой артист в душе: отлично понимает цыганскую и в особенности русскую песню и очень недурно играет на цитре, так что мы, бывало, с ним иными вечерами все время проводим за музыкой: он с цитрой, а я тихо ему аккомпанирую на пианино, и выходило это у нас иногда-таки недурно. Увлеченный, как и все мы, хорошо и характерно спетою песней, он, как бы в ответ ей, своим все еще звучным, хоть и надтреснутым баритоном запел старый кавалерийский марш.

– «Вы замундштучили меня», – начал он с фанфардами в аккомпанименте, который все время идет марсиальным темпом кавалерийского марша:

Вы замундштучили меня
И полным выюком оседлали;
И как ремонтного коня
Меня к себе на корду взяли.

– О, да! В этом отношении я – опытный и лихой берейтор! – воскликнула Эльсинорская и, как бы в подтверждение своей похвальбы, сняла со стены манежный бич и, отступя в глубину комнаты, действительно очень ловко взмахнула им и щелкнула.

Апроня продолжал свое «Признание кавалериста»:

Повсюду слышу голос ваш,
В сигналах вас припоминаю
И часто вместо «рысью марш!»
Я ваше имя повторяю.

– И на гауптвахту попада! – экспромтом добавила Эльсинорская.

Несу вам исповедь мою.
Мой ангел, я вам рапортую,
Что я вас более люблю.

Чем пунш и лошадь верховую!

– Merci за лестное сравнение с лошадыю! – пренебрежительно выдвинув румяные губки, в шутку поклонилась певцу его пассия.

– Да это, может быть, очень лестно для женщины, но плохо для кавалериста, если он уже начинает любить что-нибудь более своей лошади! – не без легкой язвительности заметила Радецкая, которой, как кажется, в душе было немножко неприятно, что некоторые отдают предпочтение не ей, а ее сценической сопернице.

– А что, господа, хорошо бы теперь жженку уланскую да трубачей бы сюда? – расходился мой сожитель. – Одобряете аль нет? Уж прощаться так прощаться с товарищем, чтобы проходы были как следует! А то, поди-ка, жди, когда-то еще он приедет теперь в штаб из своей свислочской трущобы!

Мысль была единодушно поддержана. Трубачи в этих случаях идут с величайшей охотой, в котором бы часу их ни подняли. Они знают, что во всех подобных казусах труды их оплачиваются с избытком.

Хоть и было уже около трех часов ночи, но адъютант тотчас же поехал в свою трубачскую команду за музыкой, а принадлежности для жженки нашлись и дома, тем более что эта «уланская» жженка готовится хотя и по особому, но нехитрому и несложному рецепту. Во всех холостых военных компаниях уж так испокон веку ведется, что варение жженки являет собой акт некоего отчасти торжественного свойства. Денщики принесли металлический уёмистый сосуд и без сознания важности предстоящего священнодействия поставили его на подносе посередине стола. Усатый майор, многоопытный жженковаритель, скрестил над сосудом два обнаженных сабельных клинка, на середине которых утвердил глыбу сахара и систематически стал обливать эту глыбу прозрачно-золотистым коньяком. Затем в сосуд было всыпано две скрошенные тесемки ванили – и зажженный спирт вспыхнул слабым синеватым пламенем. Кроме ванили – никаких более специй. Огни потушены, спирт разгорается ярче – пламя его начинает забирать свою силу и трепетными языками обвивается вокруг клинков и лижет бока сахарной глыбы; тающий сахар с шипением и легким треском огненными каплями падает в глубину пылающего сосуда. Усатый майор берет бутылку красного вина и осторожно, чтобы не погасить пламени, выливает его, в равном количестве с коньяком, уже не на глыбу, а прямо в сосуд и начинает мешать горящую жидкость большой суповой ложкой. Майор строго знает свое дело и не ошибется, а совершит его в такт и в меру, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой и, наконец, со вкусом. Благовонный, горячий чад спиртных паров распространяется по темной комнате и слегка начинает туманить головы. Неровный свет слабого пламени, тускло-синеватыми бликами трепетно перебегая иногда по светлой стали оружия, развешанного по стенам красивыми группами, скользит по ближайшим к вазе предметам и придает мертвенно-бледный, фантастический колорит лицам, тогда как дальние планы комнаты остаются в густом и почти непроницаемом мраке. Состольники как-то притихли, изредка разве перекинется сосед с соседом каким-нибудь словом, но и то лишь вполголоса – все с таким сосредоточенным вниманием следят за действием искусного майора, усатая фигура которого освещается несколько более прочих. Но вот один из нас садится за пианино – и хор подхватывает за ним товарищескую, военную песню про «черных гусар», песню, сложенную на тот угорско-славянский мотив, из которого Франц Лист некогда создал свой известный «Венгерский марш»:

В бой с врагом смерть идет –
Черные гусары!

Но не успели мы еще кончить эту песню, как уже в прихожей послышался топот многочисленных подошв, говор, сморкание, откашливание, продувание инструментов, возня какая-то – и вдруг целый хор наших трубачей дружно и энергично грянул оттуда лихую старопольскую мазурку Хлопицкого. Кто-то подал руку одной из дам – звякнули шпоры, шелкнул каблук – и в тот же миг несколько пар понеслись по темной комнате, вокруг большого стола, за которым усатый майор с невозмутимым и самосознательным спокойствием и серьезностью специалиста продолжал, стоя над пылающей вазой, свершать свое священнодействие. Пары носились по комнате, сшибаясь и сталкиваясь между собой, едва озаряемые слабым синеватым огнем пылающего спирта и бледно-золотистым светом луны, заглядывавшей в окна с высоты ясного неба. При таком двойном и отчасти фантастическом освещении эти, как тени, носящиеся пары походили на каких-то беснующихся призраков из «Шабаша ведьм» или из «Вальпургиевской ночи». Расшитый блестками испанский дебардер Эльсинорской вакхически мелькал, как буря, то здесь, то там по всем концам темной комнаты.

Но вдруг трубачи неожиданно смолкли, разом оборвав мазурку на одной нотке. Кружащиеся пары остановились в полнейшем недоумении на одном из самых горячих моментов своей пляски. Наш адъютант сделал сюрприз, которого в данную минуту мы менее всего ожидали. Через самый краткий промежуток времени, после того как столь внезапно оборвалась лихая музыка, вдруг в тишине всеобщего недоумевающего молчания раздались полные, густые, торжественно мрачные аккорды нашего похоронного марша. Словно бы каким-то леденящим веянием могилы охватили всех эти звуки после горячей бури мазурки. Что-то жуткое и щемящее невольно ущипнуло за сердце каждого. Мы все инстинктивно как-то замолчали и слушали каждый в том положении и на том месте, где его нежданно-негаданно захватили похоронные аккорды. Один только майор над своей вазой оставался по-прежнему невозмутимо спокоен, сосредоточенно и плавно продолжая мешать ложкой пылающую жидкость.

Эффект погребальных звуков при этом прозрачном мраке, трепетно озаряемом двойным светом луны и жженки, был – надо отдать ему должную справедливость – очень хорош именно своей неожиданностью. Но – одна неожиданность вслед за другою, а эту другую сменила третья, и эффект этой последней был еще лучше. Едва замолкли последние, словно бы в глубь могилы уходящие аккорды похоронного марша, как наши трубачи вдруг грянули резко «адский галоп» Оффенбаха, с его бешеным, горячечным темпом, с его рокотом будто бы кипящей адской смолы, с его перебегающими, летучими звуками, которые словно бы чертенята прыгают, скачут, искрятся и толпятся и сшибаются целыми вереницами, одни вслед за другими, в каком-то музыкально-поэтическом хаосе адского фейерверка, поджариваемые на шипящих сковородах всей угарно-веселой кухни Вельзевула.

– Пущено! – весело крикнул кто-то – и наши остановившиеся было пары вновь понеслись по комнате и закружились еще живее в чаду оффенбаховского галопа.

– Жженка готова! Зажигайте свечи! – громко провозгласил майор, бросая на пол горячие клинки.

Комнату осветили. Стаканы наполнились горячим ароматным напитком.

– Ну! Доброго пути! За предстоящий поход, хотя и пустячный, а все-таки выпить надо! – предложил тост мой сожитель.

Выпили и за добрый путь, и за поход, отдавая должную справедливость искусству майора, потому что сваренная им жженка была в своем роде превосходна. Пили потом за полк и полковое товарищество, причем трубачи грянули полковой марш, всегда и неизменно, в силу старого обычая, сопровождающий эти тосты. Время летело весело и потому слишком быстро, так что мы и не заметили, как по соседству на соборной колокольне ударили благовест к заутрени.

– Эге! Да уже шесть часов, господа! Надо же дать человеку и отдохнуть перед походом! – домекнулся кто-то из товарищей.

– Нашел время для отдыха! – отвечали ему смехом. – Теперь ему разве только чаю выпить, умыться да одеваться в походную форму.

Решили, что спать не стоит ложиться, потому что только хуже размаешь себя. Да оно и точно: когда уж тут спать! Некоторые из товарищей решили проводить меня и эскадрон несколько верст за город, до первого привала. Тотчас же распорядились послать к рейткнехтам приказания, чтобы седлали таких-то и таких-то лошадей и вели их к перевозу. Между тем гости наши стали собираться домой. Их одели, укутали, обмотали башлыками и всею компанией пустились провожать на улицу. Заранее вышедшие трубачи, построившись, ждали уже под воротами. Мы усадили наших барынь на извозчиков; иные из наших уселись на передки, другие кое-как примостились на подножках, остальные вокруг и пешком – и вот вся эта процессия с музыкой двинулась шагом до сонному городу, к необычайному изумлению жидков, только что просыпавшихся и продиравших глаза из-под своих бебехов в ожидании гандлов и гешефтов наступающего дня.

В небе только что начинало сереть по восточной окраине, но звезды все еще мерцали кое-где редкими точками. Свет склоняющейся луны однако же заметно слабел и белел, а в морозно-чутком воздухе пахло уже рассветом зарождающегося утра.

Мы добросовестным образом проводили наших театральных дам до их квартиры и простились.

Трубят голубые уланы
И едут из города вон! –

раздался веселый голосок девицы Эльсинорской – и с этой песенкой, быстро и легко подымаясь по ступенькам, она скрылась в темноте лестницы, ведущей в ее театральную келью.

2. На первом переходе

Когда я вернулся домой, пароконная бричка с почты уже ждала во дворе и денщики укладывали в нее мои вещи. Налившись чаю, я оделся в походную форму, навесил ладанку, прицепил саблю, пригнал пистолетную кобуру да подстегнул чешую шапки и пешком отправился по едва пробуждающимся улицам вниз, под гору, под которой, огибая город, протекает Неман. Мне хотелось пройтись. Утро, борясь с предрассветной мглой, все более и более вступало в свои права. Вот и спуск к Неману. С реки подымается белый туман. У берегов плавают тонкослоистое, матовое «сало». Парома нет еще: он на той стороне и пока не виден за туманом, из которого самыми смутными очертаниями едва-едва выделяются крутизны и возвышенности противоположного берега с его крышами еврейских домишек и колокольной Францишканского кляштора. Холодно и тихо. Эскадрона нет еще, но у перевоза виден человек и темная фигура коня в поводу под попоной; гляжу – это мой рейткнехт дожидается с моим Ветераном. Поласкав коня, я в ожидании эскадрона присел на одно из бревен, наваленных у берега. В католических костелах зазвонили к ранней «мше». Вот грязные жидашки в лохмотьях плетутся по спуску и, звонко перебраниваясь, занимают обычные, насиженные места около перевоза со своими «котиками» и лотками, на которых продается всякая снедь вроде булок, вареного картофеля и гнилых яблок. Понемногу начинают набираться сюда же разные солдатики, бабы, евреи, мещане, мужики с возами да фурманки в ожидании переправы на ту сторону. И моя бричка подъехала. Время от времени с реки доносятся протяжные перебивки паромщиков с судовщиками, которые на своих «берлинках» спускаются вниз по течению. На перевозе между солдатами и жидами крикливо поднялся уже какой-то «хандель» – что-то вроде старых штанов продается, Рассматривается и перекупается, – и евреи при этом перебивают друг у друга «выгодны гешефт».

Но вот, приближаясь издали, доносятся все слышнее, все ближе, с высоким фальцетом хороших подголосков гуденье бубнов и звяк медных тарелок. Мой конь, заслыша знакомые звуки, поднял морду, насторожил уши и, понюхав воздух, вдруг заржал, подобрался и нетерпеливо стал бить копытом мерзлую землю – своих, значит, почуял. И точно: вон уже видны голубые с белым флюгера, а вот и наш эскадрон на вороных своих конях спускается с горы. Вахмистр остановился, повернул коня и пропускает мимо себя людей, предупреждая, чтобы те «подтянулись и шли в порядке».

– Смирно! – командует он, завидя офицера. – Эскадрон сто-ой! – И вслед за тем – руку под козырек и подъезжает с рапортом, что все, мол, обстоит благополучно.

– Здорово, люди!

– Здравия желаем, ваше благородие!! – как один человек, откликаются более сотни здоровых, громких голосов одним бойким, перебивным выкриком.

– Слеза-ай... вольно, оправиться!

Люди зашевелились, засморкались; с обычным лязгом сабель слезают с лошадей, оправляются; иной подтягивает подпругу, иной оглаживает своего коня, ласково похлопывая его ладонью по шее; кто уже и трубочку запалил, а кто дымит наскоро сверченной папироской. Махорочным запахом потянуло. Иные покупают у торговки булки и весело гуторят и торгуются с ними, а один молодой уланик в неловко сдвинувшейся на затылок шапке, с добродушно улыбающейся физиономией, уплетает за обе щеки горячий картофель – и лицо его выражает такое удовольствие, что так и кажется, будто в эту минуту он совершенно доволен и счастлив тем, что наслаждается сильно горячей картошкой. Двое солдатиков, отделяясь от эскадрона, осторожно осматриваются и переговариваются о чем-то меж собою: видно, что им очень бы желательно теперь незаметным образом юркнуть в гостеприимную дверь ближайшего кабака и хватить по кружку; они за массой лошадей делают уже разные маневры и лавируют для того, чтобы

вышло это как нибудь «поделikatнее и попартикулярнее»; но глаз эскадронного вахмистра зорек: он знает натуру, и характер, и наклопности каждого человека в своем эскадроне, и его не надуеть никакими маневрами и эволюциями; он чувствует, в чем тут суть дела, и потому издали, окликнув двух солдатиков по имени, строго грозит им пальцем – и те со смущенно улыбающимися физиономиями неспешно и разочарованно возвращаются ко фронту.

– Паро-ом!.. ге-ей! Да-вай жи-ве-я паро-ом! – рупором приставив руки к губам, зычно подает вахмистр голос на тот берег.

– И-де-ет! – протяжным откликом доносится к нам из тумана с середины реки – и вот минут через десять, выплывая из белесоватой мглы темной массой, паром неуклюже и медленно причаливает к берегу.

– Переправа повзводно. Первый взвод вперед, шагом – марш!

Люди спешно двинулись к парому.

– Не жмись! Не напирай! Куды вас, дьяволы, всех разом поперло! – распоряжался и хлопотал вахмистр. – Вводи в порядке поочередно, на лошадь дистанции, по одному!.. Да осторожно! Под ноги гляди! Ставь коней рядом, головами в поле, к воде, задом к середине!.. Да без суеты! Поспеешь! Не бойсь, никого не забудем, всех возьмем!.. Ну? Готово, что ли?

– Готово!

– Ну, отчаливай с Богом! Господь с вами!.. Вороненко, доглядите, чтобы там все было в порядке!

– Не сумлевайтесь, Андрей Васильевич, – успокоительно откликается взводный, – не допустим.

И паром, как-то скрипя и кряхтя, грузно и тяжело отчаливает от берега и уплывает в редешую мглу тумана. С реки слышно, как иногда тревожно топнут о настилку парома конские копыта и вслед за тем резко и коротко взвизгнут сердитые жеребцы.

– Но-о, ты! Дерись тут еще, кусайся! Я те покусаясь! – доносится сердитый голос солдата, крикнувшего на повздоривших коней.

Паром придет обратно не ранее, как минут через двадцать, а то и через полчаса. Переправа – дело довольно скучное, потому что, пока последовательно перевезутся все четыре взвода, пройдет по крайней мере часа полтора времени, в течение которых сиди себе на берегу и, что называется, жди погоды. Скучно. Смотришь рассеяннo на скушающих и потому понуривших головы коней, и на топчущихся с холоду солдатиков, на возы и фурманки, которые скопляются все более и которым долгонько-таки придется теперь дожидаться своей очереди на пароме. Сидящие у лотков жидовки все также перебраниваются между собой за булку, купленную солдатом у Меруи, а не у Рашки. Жиды купили и продали, перекупили и перепродали асе те же старые штаны и успели уже сделать несколько выгодных гешефтов. Мальчишки с праздным любопытством глазешут на ожидающих улан. Вот с молитвенником в руках идет какая-то пани «до косциолу» и, проходя мимо «москалей», отвернулась и сплюнула в сторону. Жжешь одну папиросу за другой в ожидании, когда-то наконец переправишься сам с последним взводом; но вот – слава Богу – подъехали товарищи, обещавшие проводить; пришел полковой портной Мов-ша Элькес, который вменил себе как бы в некую священную обязанность являться самолично во всех случаях полковой жизни: на маневры, на плац, во время учений и смотров, на переправу, при уходе и прибытии эскадронов, на пирушки в прихожую офицерских квартир, на именины, на похороны, – одним словом, всегда, везде и повсюду без присутствия Мовши Элькеса дело не обходится. На маневрах, смотрах и переправах он обыкновенно является с бутылкой водки в одном кармане, со связкой бубликов в другом и с грушами во всех остальных, причем считает первым долгом своим предложить «гашпидам офицерам» угощение всеми имеющимися у него в наличности запасами. Вслед за Мовшей Элькесом к парому пришла своей утиной походкой и мадам Хай-ка – точно так же, как и Мовша, неизбежная спутница полка во всех случаях его жизни. Оба они состоят при полку и в веселую минуту

любят заявлять о себе, что «слгожат в вулянах». Мадам Хайка Пикова – пожилая женщина, которая взяла себе привилегию снабжать всех офицеров полка папиросами и сигарами; но и кроме этих двух специальных предметов она доставляет, в случае надобности, и чай, и сахар, и свечи, и вино, и платки носовые, и чулки, и вообще все, что бы ни понадобилось в офицерском хозяйстве.

– А ми до вас на переводы! – заговорили и Мовша, и Хайка, подходя к нам с поклонами. – Мозже одного румку на дорошку? – любезно предложил Элькес, вытаскивая бутылку.

– Нет, спасибо, не хочется...

– Ну, то гхля мне гхэто будет обидно. Я же у вас пил сшиводною...

– Когда сегодня? – удивились мы все, услышав это заявление.

– Сшиводною в ноц...

– Да ты разве был?!

– А как же ж ниет?.. Когда ж би я могх не бить. И ми бил, и Хайка бил, и музику сшлюшили... Увше время у ваша перехожая били з музыканты.

– Да как же вы узнали про это?

– Ага! Вже взжнали!.. Во у нас таки нюх, и таки дух, и таки сшлюх есть!.. Зжвините!

Приехал полковой командир с адъютантом проводить эскадрон и проститься с ним. Все мы,*не исключая эскадронного Шарика и Хайки с Элькесом, переправились наконец на ту сторону вместе с четвертым взводом и поднялись на крутой подъем, где на площадке, почти уже за городом, в порядке ожидали три первых взвода. Полковник осмотрел строй и пожелал людям доброго пути.

– Песенники на правый фланг!

– Песельники на правый фланок! Живо! – передали по фронту приказание взводные вахмистра – и человек двадцать улан рысью выехали из рядов со всем своим песенным инструментом и разместились «по голосам».

– Ну, с Богом!.. Прощайте, ребята!

– Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие! – весело и дружно рявкнул фронт в ответ командиру.

– От меня по чарке водки!

– Покорнейше благодарим! – еще веселее пробежало дробью по рядам.

– С Богом!

– Эскадрон, смирно!.. Справа по три! Равнение налево, шагом... ма-арш!

И в порядке – пики в руку, глаза налево – эскадрон стройными рядами, красиво подобрав коней, двинулся мимо полкового командира.

– И прищайте! и прищайте! и прищайте! – махая платками, кричали вдогонку и Хайка, и Элькес.

Не белы снега во поле забелели, –

разливисто, высоко и свежо зазвенел вибрирующий тенор запевалы, который с разукрашенной лентами и бубенцами махалкой ехал впереди своей команды.

– Аи, да забелели! – дружно подхватил хор, сопровождаемый звоном тарелок и парой гудящих бубнов – и эскадрон под эти родные, широко разливистые и душу захватывающие звуки, тихо, но бодро уходил в широко раскинувшуюся даль приеманских полей, только что за сутки пред сим успевших покрыться, как тонкой пеленой, пушистыми девственно-белыми снегами.

Туман поднялся и рассеялся. Солнце проглянуло из-за облаков и блеснуло тем именно светом, который обещает прекрасную, ясно-морозную погоду. В воздухе реяли тонкоиглистые, замороженные искорки, на которых играли солнечные лучи, так что они казались будто плава-

ющей мельчайшей алмазной пылью. Те же лучи солнца, преломляясь на отдельных снежинках, превращали и снежные поля в какие-то серебряные скатерти, по которым щедрой рукой рассыпаны искрящиеся точки самоцветных камней, – и острые лучи всех этих алмазов, рубинов и яхонтов даже колят глаз порой своим ярким, играющим блеском. По полям кое-где раскиданы одиноко растущие дикие груши; изредка попадаются они и около самой дороги и стоят, словно серебряной шапкой, покрытые снежным налетом, который запустил их шарообразно и обильно разросшиеся ветви и прутья. По сторонам дороги, на свежем снегу, который только самым тонким слоем покрыл землю, видны иногда заячьи следы; а вон по тоненьким черточкам, которые узкой ленточкой тянутся в сторону и пропадают за ближними кустами, видно, что здесь недавно стадо куропаток перебежало. Воробьи задорно и бойко чирикают по дороге над свежим навозом; а эскадронный Шарик решительно поражает своей неутомимостью: задрав кренделем свой хвостик, он просто кубарем каким-то мечется по полям, кидается во все стороны и звонким, веселым лаем оглашает всю пустынную окрестность.

Эскадрон растянулся себе на вольном походе. Впереди идут песенники, в некотором расстоянии за ними – взводы, по порядку своих номеров; позади взводов гуськом тянутся всадники с заводными лошадьми в поводу, а в самом хвосте колонны, замыкая ее собой, едет дежурный по эскадрону унтер-офицер, наблюдая за порядком и за тем, чтобы люди не отставали, не отъезжали в стороны и не слишком бы растягивались. Несколько в стороне, отдельно от фронта, по краю дороги, едут вахмистр с двумя взводными и ведут между собой какую-то беседу. Отношения вахмистра к унтерам вообще и ко взводным в особенности основаны «на политике»: они все друг другу говорят «вы». Сколько бы ни были интимно-приятельственны эти их отношения к тому или другому унтеру, но уж «ты» ни один из них не скажет самому задушевному своему приятелю. В этом «вы» у них выражается как бы взаимное уважение и почет к званию унтер-офицера, и далее чуть произведут в унтера какого-нибудь рядового, которого вчера еще все «тыкали», сегодня все – и его товарищи рядовые, и новые товарищи унтера – начинают уже говорить ему «вы». Вахмистра все называют по имени и отчеству, а в официальных случаях «господином вахмистром»; он же по имени и отчеству относится только ко взводным, к эскадронному квартирмейстеру, фуражмейстеру и писарю, а прочих всех унтеров, говоря им «вы», кличет по фамилиям. Никакое начальство этой «политики» никогда между ними не вводило, не настаивало и не наблюдало за образованием именно такого рода взаимных унтер-офицерских отношений. Эскадронные командиры из старых служак иногда даже бывают и недовольны своими вахмистрами за эти «миндальности»; но – такая уж «политика» установилась как-то сама собой и столь укоренилась между солдатами, даже столь нравится им, что их уж никаким образом от нее не отучишь. Да пожалуй, что и не следует отучать, ибо в этой форме взаимных отношений, в этом «вы», в этом «Андрей Васильич» и «Карп Макарыч» невольным образом выражается и их взаимное сознание чувства собственного достоинства, и уважение к чину унтер-офицера, да вместе с тем оно же служит и добрым примером рядовым, а в особенности молодым солдатам. Чем меньше грубости в нравах и взаимных отношениях, тем лучше!

Вот впереди чернеется в воздухе придорожный крест, а неподалеку от него торчит соломенная кровля корчмы, которая стоит на перекрестке. От этой корчмы нам надо будет свернуть направо и идти на фольварк Капцовщизну, на местечко Индуру до деревни Прокоповичи, где назначен первый ночлег. Как подойдем к корчме, то это будет значить, что отошли мы от города около семи верст, – значит, уже время спешить людей, чтобы облегчить лошадей и самим поразмять ноги в небольшой прогулке около версты, до перекресточной корчмы, где можно сделать маленький привал.

Спешились и пошли. Крепкий снежок хрустит под ногами; от лязга сабель, колотящихся ножнами о промерзлую почву, стоит какой-то особенный металлический шум над идущим эскадром; слыша этот шум и завидя колеблющиеся флюгера, испуганная птица с тревож-

ным, коротким выкриком отлетает с дороги, а за нею откуда ни возьмись срывается вдруг и целая стая, и с пронзительным криком в каком-то замешательстве тянется в сторону, низко над белыми полями, за дальнюю лощину и там, долго кружась над избранным вновь местом, наконец-то опускается и успокаивается понемногу.

Бричка моя с вестовым на облучке опередила эскадрон и рысью поехала к корчме, чтобы успеть там к нашему прибытию выгрузить погребец и дорожные запасы.

Вот и корчма перед нами – низенькая, маленькая, грязненькая, с черной соломенной кровлей, на которой разросся порыжелый мох и торчат засохшие стебельки бурьяна. Из низенькой закопченной трубы дым валит. Длинный журавель скрипит над криницей, из которой батрачка тянет бадью. Две лохматые собаки, тощие и злые, бросаются на лошадей и на Шарика, который, в виду столь грозного неприятеля, поджав хвостик, старается поскорее затесаться в середину между людьми и конями.

– Эскадрон, стой!.. Послать взводных вахмистров с котелками!

Люди весело в ожидании водки стали потаптываться и махать зазябшими руками. Некоторые перекидывались снежками, некоторые боролись между собой, чтобы согреться. Иные до сине-багровых пятен натирали себе снегом ладони и пальцы, так как левой руке, держащей поводья, приходится терпеть муку немалую: на морозе, при небольшом даже ветре, левая рука начинает невыносимо щемить, ныть и скоро коченеет, так что тут единственное опасение – растерять себе пальцы сухим снегом для возбуждения в них теплоты и чувствительности.

В маленькой, низенькой корчемке топила печь, и дым ел глаза: ветром выбивало из трубы. Замурзанные жиденята в одних рубашонках ерзали голым телом по холодному, сырому, грязному земляному полу; две еврейки, в каких-то смоклых лохмотьях, с ухватами возились у печки, готовя шуку и кугель к наступающему шабашу. Грязь, вонь и нечистота, но не бедность – отнюдь не бедность, ибо за перегородкой, куда провели нас, офицеров, висели очень порядочные лисьи шубы, пальто, мантильи и даже шелковые платья тех самых евреек, которые в таких скверных лохмотьях возились теперь у печки.

Корчемка, несмотря на свое внешнее убожество, стояла на очень бойком месте и, судя по этим мантильям и платьям, приносила доход хороший. Сюда обыкновенно в базарные дни наезжают из города перекупщики-евреи и приобретают у крестьян все продукты, которые те везут в город; здесь же обыкновенно и крестьяне пропивают значительную долю своей выручки, и всякий возвращающийся из города останавливается – хоть на минутку – и выпивает «килих» на дорогу.

Вахмистра упорно стали торговаться с еврейками о водке, которой на эскадрон обыкновенно требуется полтора ведра. Еврейки ломили за ведро пять рублей. Цена и точно что убийственная, но еврейки соображали себе то обстоятельство, что до следующей попутной корчмы не близко – верст восемь по крайней мере, а уж коль скоро солдаты остановились и покупают водку, то, стало быть, есть надобность распить ее не дальше, а именно здесь, в виду длинного перехода при холодной погоде.

В тесном пространстве за перегородкой, куда мы вошли, вестовой уже приготовил закуску: раскрыл погребец, развернул сахарную бумагу, в которой покоилась жареная курица, и распаковал корзинку с пирожками. После не особенно сытного ужина накануне, после бессонной ночи и наконец теперь, после маленького моциона, скромный завтрак показался всем нам очень вкусен и приятен. Мы с превеликим аппетитом истребляли пирожки и нахолодавшую на морозе курицу, запивая их хересом да красным вином, причем поневоле приходилось чередоваться стаканами за недостатком их. А между тем за перегородкой набралась полнехонькая горница солдат, приходили они – кто согреться, кто за угольком для трубочки, кто так себе просто поглазеть, что тут делается, а вахмистра все еще упорно торговались с еврейками, не уступавшими им «а ни grosша!».

Я кликнул эскадронного за перегородку.

– Бросьте вы, наконец, торговаться!.. Что ж мы людей-то из-за них даром на морозе держим.

– Да как же, ваше благородие, никак невозможно!.. Подлые эдакие, вдруг пять рублей за ведро, коли мы никогда больше трех с полтиной не платили!

– Ну и черт с ними! Пять так пять!.. Надо же наконец дать людям водки!

– Да нет-с, никак невозможно-с!.. Потому опять же я докладываю вашему благородию, что они подлые...

– Да брось же ты, ей-богу!..

– Воля ваша-с, конечно... а только для того, что нам жалко ваших денег... за что же-с вы теперича задаром будете кидать им два рубля с четвертаком? Люди, конечно, на угощении очень благодарны, а все же никто не пожелает, чтобы господа офицеры для нас так вот, зря, кидали лишнее... Никак это невозможно-с!

– Ну да ладно! Кончайте скорее!

– Не извольте беспокоиться, ваше благородие!.. Мы уж их урезоним: сдадутся-с!

И точно, что урезонили: полтину на ведро еврейки спустили, но уж меньше никак! Вахмистр пришел доложить об этом обстоятельстве.

– Все ж таки семьдесят пять копеек выгадали-с!.. По крайности, не так уж обидно! – заявил он с оттенком не совсем еще улегшейся досады в лице и в голосе. – Ваше благородие, а насчет полковничьей чарки как прикажете быть? – спросил он, несколько понизив голос.

– Не знаю уж, – пожал я плечами, – на походе, коли нет эскадронного командира, все чарки, по обыкновению, офицерские – стало быть, мои.

– Так точно-с. Нам бы, значит, полковничью чарку выпить лучше, как уж совсем придем на место, на квартиры.

– И то правда. Стало быть, так и сделайте.

– Так точно-с, оно и людям вольготнее, а на походе две чарки будет много-с: неравно кого и разберет. А насчет непьющих как прикажете-с?

– Непьющим дать, по обыкновению, пива или меду по стакану.

– Слушаю-с!

Вахмистру при этом – тоже по обыкновению – налили мы стаканчик и поднесли и дали два пирога на закуску. Маленький знак такого внимания со стороны офицеров всегда бывает вахмистрам очень приятен.

Что касается до двух чарок на человека, то, по практическому замечанию вахмистров, это зараз будет действительно много: казенная чарка сама по себе равняется доброму стаканчику; солдат же вообще пьет мало и редко – конечно, оттого, что это редко ему удастся, – и потому, чтобы захмелеть, для большей части из них двух чарок совершенно достаточно, а одна необходима на походе чисто уже в гигиенических условиях, особенно при осенней сырости или по зимнему холоду.

Расплатись с еврейками, мы вышли на двор. Там взводные уже кончили раздачу винной порции: каждый человек по порядку подходил к своему взводному и принимал от него свою чарку. Большая часть солдатиков принимали ее не иначе, как перекрестясь сначала, и, выпив, передавали следующему пустую посудину с поклоном.

– Ну, готовы, что ли?

– Готовы-с!.. Покорнейше благодарим ваше благородие! – весело откликнулись вдоль по всему фронту улыбающиеся лихие рожи в своих характерных, заломленных набекрень шапках.

– Теперь веселее пойдет... И песни играть будет не в пример вольготнее! – заметил голосистый запевала, обтирая обшлагом шинели свои обледенелые и побелевшие от холода усы.

Погребец снова уложили со всеми съестными запасами в бричку, и я пустил ее вперед эскадрона, приказав ехать пошибче, рысью, чтобы вестовой успел на ночлеге приготовить мне к

приходу эскадрона угол в избе, раскинуть походную кровать и поставить самоварчик. Вестовой Бочаров был человек надежный и потому, сразу дав тумака в спину мямле-ямщику, убедил его этим внушительным аргументом ехать как следует – и бричка моя покатила себе крупной рысью.

Я простился с провожавшими меня товарищами. Эскадрон двинулся по дороге вправо, а те вперегонку друг с другом пустились сначала в карьер, а потом пошли крупной рысью и скрылись за волнистой покатостью по направлению к городу.

Мороз усиливался. Высокие облака сплошь почти заволокли все небо, и солнце светило из-за них тускло-красноватым пятном с каким-то медным отсветом. Этот свет солнечного диска служил верным предвестником, что к вечеру мороз усилится еще более.

Мы шли густым сосновым лесом. Подымался ветер, и видно было, что он крепчает. Хотя мы сами еще и не ощущали на себе его резкого действия, будучи заслонены двумя зелеными стенами с обеих сторон дороги; но ветер тянул по вершинам, и порывы его иногда становились столь сильны, что высокие, старые сосны, качаясь и кренясь, издавали неприятный скрип, иногда похожий то на скрежет, то на жалобные стоны. Воронье целой стаей кружилось и каркало где-то над лесом. Спугнутый заяц выскочил из-под пня и, как ошалелый, в страхе и ужасе засигал прямехонько-таки вдоль по дороге, впереди эскадрона, преследуемый свистом и уханьем наших людей. Шарик, заливаясь лаем и подрыгивая задней лапкой, ретиво и резво пустился за ним вдогонку, но вскоре по лаю слышно стало, как ему и досадно, и обидно, что заяц совсем вот на виду и сигает прямо, а он меж тем никак его догнать не может и через это только прить свою собачью пред целым эскадроном посрамляет.

Старый вахмистр, досадливо цмокнув губами, опасливо покачал головой.

– А-ах, ты Господи!.. И нужно же было этому косоглазому лешему!.. – проворчал он вполголоса.

– Чего ты, Скляров? – обратился я к нему, не понимая причины его сетующего замечания.

– Да заяц, ваше благородие.

– Ну, так что ж, что заяц?

– Да оно ничего, а только примета нехорошая... Дай Бог, кабы переход благополучно сделать!.. У нас уж это исстари заметка такая положена, что как ежели заяц перебежит дорогу или вот как теперича, и того хуже, побежит вдоль по твоему пути, тут уж гляди, какая ни на есть шкода приключится... Ну, да никто, как Бог!.. Авось пронесет благополучно! – заключил он словами надежды, но эти слова были сказаны, кажись, более для утешения нескольких ближайших людей, слышавших наш разговор; сам же Скляров в душе своей, как мне показалось, мало верил в то, чтобы переход кончился благополучно.

Песенники между тем разливались во всю грудь, несмотря на мороз; остальные калякали сосед с соседом да покуривали свои носогрейки, по-видимому вовсе не разделяя вахмистерских опасений насчет случайно подвернувшегося и ни в чем не повинного зайца.

Между тем мы вышли из лесу. Широко и далеко раскинувшееся поле охватило нас со всех сторон, и здесь уже ветер, гуляя себе невозбранно на всем вольном просторе, стал сильно-таки резать в правую щеку своими студеными порывами.

Было уже более четырех часов пополудни, когда мы прошли фольварк Капцовщизну, где против старого помещичьего «сломяного палаца», принадлежащего родовитому пану, с некоторого времени, как бельмо в глазу, стоит новенькая православная церковь в чисто великорусском стиле, а подле нее расположился уютный домик, в котором помещается сельская школа. За Кап-цовщизной опять пошли волнообразные поля с раскиданными кое-где рощицами и перелесками да с полосой непрерывного темно-синего бора на горизонте вдоль берега Немана. Высокие кресты там и сям раскиданы по этим пространствам, на межах и на перекрестках тропинок и проселочных дорог. Иногда они попадаются и по дороге, и на каждом непременно

имеется врезанная надпись, гласящая, что «тен кржиж поставионы на памёитек» о том или другом обстоятельстве панско-костельной жизни. Кстати, об этих крестах: на втором переходе, близ нашего пути, стоит около одной речонки высокий и прочный крест с надписью весьма своеобразной. Есть даже и легенда. Некий пан – «родовиты шляхциц» – однажды в весеннее половодье тонул в разлившейся речонке вместе со своей нетычанкой и конями. В минуту опасности он дал обет, что ежели пан Бог избавит его от смерти, то он на сем месте поставит «кржиж на памёитек». На панское счастье, проезжает какой-то хлоп, который, видя крайне критическое положение родовитого пана, пустился вскачь в ближайшую деревню, кликнул мужиков с жердями, волами и веревками – и те вытащили из воды пана вместе с нетычанкой и конями. «Родовиты шляхциц – як гоноровы и поржондны чловек» сдержал свой обет, данный Богу: поставил крест и на нем увековечил себя следующей надписью: «тен кржиж пан пану поставил, за то, же пан пана од смерци выбавил».

Тускло-багровое пятно все более склонялось к западу, и вместе с его склонением даль на горизонте заметно начинала кутаться в какую-то свинцово-серую мглу с лиловатым оттенком. Мороз крепчал, а вместе с морозом крепчал и порывистый северо-восточный ветер, который быстро гнал по небу дымчатые, причудливо очерченные облака, и эти ближайшие к земле облака, окрашенные по краям своим в молочно-фиолетовые и дымно-розовые тоны, довольно явственно обрисовывались своими изменяющимися формами и очертаниями на общем фоне туманного неба. Ни клочка лазури уже не было видно. Снег не падал, но сильные порывы ветра, стлавшиеся по земле, вздымали его с полей и с дороги. И этот снег был такой мелкий, сухой, как песок, и колючий до жгучей боли, так что казалось, будто тысячи иголок колят уши, глаза, нос и щеки. Этот проклятый снежный песок мельчайшей пылью забивался за воротник и таял за шеей от прикосновения к телу; набивался он и за левый рукав под сорочку, которая сырела и увлажнялась. Рука невыносимо ныла под замшевой перчаткой – а каково нее было тем несчастным солдатам, у которых вовсе не имелось никаких перчаток!.. Пальцы ног начинали сильно Щемить на холодных стальных стременах; колени, плотно обхваченные натянутыми рейтузами, холодели под ветром. Я тщетно старался прикрыть и укутать их полами своего пальто: ветер то и дело распахивал эти полы и забирался холодной струйкой под рукава, к плечу и из-под шеи за спину и выщемливал из глаз соленую слезу, которая, катясь по лицу, ужасно неприятно щекотала щеки и, пропадая в усах, замерзала на них ледяными сосульками.

Разыгрывалась сухая морозная метель. Снег все более и более сметало с дороги и крутило в поле, накидывая его пластами и сугробинами в канавках, около камней да под можжевельным низеньким кустарником. Дорога совсем почти обнажилась и темнела под ногами и впереди глинисто-коричневой лентой. А надо заметить, что до последних суток, в течение нескольких дней, шел непрерывный осенний дождь, размочивший глинистую почву до того, что по всему пути образовались страшные шероховатости, бугры, впадины и глубокие колеи. Потом в одну ночь все это месиво вдруг заколодило крепким морозцем и слегка прикрыло первым зимним снежком. Теперь же, когда этот снежок сносило ветром, вся дорога обнажилась и представила такую гололедицу, что лошади, пытливо ступая самым осторожным шагом, поминутно скользили и спотыкались. Мы никак не предвидели, чтобы в обычных условиях того климата могло вдруг заколодить так, как это неожиданно случилось теперь, и потому большую часть лошадей не успели перековать на зимние шипы. В прежние годы, обыкновенно, приходилось нам выступать на зимние квартиры в эту самую пору либо по прекрасной сухой дороге (ибо осень в том крае считается почти лучшим временем года), либо же по размягченному дождями глиняному месиву. Морозы в том крае наступают гораздо позднее, а в этот раз случился вдруг такой милый сюрприз и, как нарочно, перед самым выступлением!

Пока дорога сплошь была прикрыта снежком, кони шли себе бодро, легко, спокойно и уверенно, но теперь по открывшейся гололедице мы принуждены были вместо обычных шести верст в час делать только четыре и даже несколько менее. Студеный ветер, вздымая челки

и гривы лошадям, свистел между пиками, шумел и плескал флюгерами и крепко донимал озябших людей. Но люди видимо бодрились, не унывали и подняли воротники плащей только тогда, когда я дважды отдал настойчивое приказание поднять их на уши и ссучить нарукавные обшлаги, в прорезь которых в таких случаях у нас пропускаются мундштучные поводья. Это все ж таки хоть сколько-нибудь предохраняет левую руку от влияния стужи. Песенники, несмотря на резкий ветер, почти неумолчно горланили развеселые песни. Красивая махалка то и дело ходенем ходила и плясала в такт над их хором, споря со свистом и шумом ветра звоном и звяканьем своих бубенцов и колокольчиков.

– Полно, ребята, вам горланить! – крикнул я им. – Глотки простудите!

– Никак нет-с, ваше благородие! – откликнулись мне из хора. – Нам но экому времени ежели петь, так не в пример лучше!

– Да чем же лучше-то?

– А как же-с!.. Вот как попоешь да трубочку еще горяченькую потянешь, так оно словно бы и теплее!.. Ведь песня греет!

Вдруг недалеко позади меня крякнул лед под конскими копытами, и затем что-то глухо рухнуло всей массой на землю и сухо, коротко хрустнуло. Раздался тяжелый, глухой, болезненный стон.

– Ваше благородие... ваше благородие! Остановите эскадрон! – раздался за мной тревожный голос вахмистра.

С командой «Стой» я повернул назад своего коня. Шагах в десяти от меня в придорожной канавке лежал на боку и барахтался конь, силясь подняться на ноги и сильно придавив своей массой солдата. Ужас невыносимой боли и страдания исказили черты лица упавшего. После первого стога он лежал теперь безмолвно и бессильно. Несколько соскочивших с седел людей подняли лошадь и высвободили из стремени ногу солдата. Он сгоряча быстро поднялся на ноги, заботливо отряхнул с полы снег, сделал шаг, другой и вдруг, словно бы оступившись, с новым криком боли, как сноп, упал на землю.

– Что с тобой, Катин?

– Не могу знать, ваше... больно... нога... Ой, нога! – с трудом простонал он, заскрежетав зубами.

Вахмистр с одним из солдатиков бросились к нему, подняли с земли и поставили на ноги.

– Ничего! Пройдись немножко, – ободрил его Скляр. – Разомнися чуточку! Оно сейчас же и тово... полегчает!

– Не могу, Андрей Васильич! – через силу бормотал солдат. – Мочи моей нет на то... никак не могу-с я...

– Ну, а ты попробуй!.. Ничего!.. Мы тебя поддержим.

– Разве что поддержите...

Он сделал над собой еще одно усилие и упал на руки державших, которые несколько шагов протаскивали его на себе, держа под мышки. Придавленная нога бессильно волочилась за ними, как мертвая.

– Ну, что ж ты, брат, – снова подбодрил его вахмистр.

– Мочи нет... Христа ради... положите меня... Смерть как больно!

И он, сдавливая в себе стоны, крепко стиснул, сцепил свои челюсти и опять заскрежетал, судорожно поводя скулами. Болезненная бледность видимо разливалась на его страдающем лице, которое вдруг как-то осунулось от жестокой, мучительной боли.

Его положили на землю. Ветер распахивал и взвевал полы его шинели.

Я соскочил с лошади и подбежал осмотреть его ногу.

– Надо бы снять ему салог да поглядеть, что там у него? – заметил вахмистр.

– Где тебе собственно больно? которое место? – наклонился я над ним, опускаясь на колени, затем чтоб осмотреть ушиб.

– Все больно... вся нога... по колено... и в суставе... и в ступне, и в голени... все больно...

Вахмистр сделал попытку стянуть с него сапог.

– Ой!.. – завопил несчастный благим матом. – Не мучайте, Христа ради!.. Оставьте!.. Аж дотронуться мочи нет!

– На лошадь сесть можешь?

– Не знаю... Попробуйте... помогите... авось-либо...

Его осторожно поднесли к коню и подсадили. Но, перенося через седло ногу, он вдруг закачался в воздухе и бессильно, почти без чувств, рухнулся на руки поддерживавших его товарищей.

Те снова отнесли его несколько в сторону и положили наземь.

Я с тоской оглянулся вокруг и пожал плечами: помощи никакой и ниоткуда!

– Что ж теперь делать?

– Н-да-с!.. Вот он, заяц-то, ваше благородие! – с видом укора к моему неверию заметил старый Скляров. – Это он! Все он, проклятый!.. Уж это поверьте!.. Наша примета солдатская не мимо идет!

– Да уж это никто, как заяц!.. Это так!.., это верно! – качая головами, толковали между собой солдатики.

Заяц ли, не заяц, а делу все-таки было не легче от того. Куда мы теперь денемся с этим несчастным Катиным? Очевидно, нога его была переломлена. Споткнувшаяся и подскользнувшаяся лошадь грохнулась всей своей тяжестью наземь. Закоченелая рука всадника не могла быть чувствительна к поводу и потому не успела вовремя поддержать его, а затем нога его очутилась голенью над узкой канавкой, а носком в стремя, на краю ее, и от силы удара хрустнула и сломалась, не выдержав напора всей массы лошадиного тела; да, кроме того, в суставе, отделяющем ступню от голени, мог быть еще и вывих – что действительно и оказалось впоследствии. Продолжать путь на коне он уже не мог никоим образом.

«Господи, и дернуло же меня, словно бы нарочно, словно бы на зло, услать вперед свою бричку! – с болью в душе думалось мне. – Хоть бы подъехал кто-нибудь на наше счастье!» Послать бы куда за подводой – но куда пошлешь? – по сторонам ни единой деревушки, ни единой хатки нигде не видать: во все концы, куда ни глянь, – одна голая равнина, одни поля и поля бесконечные... От Капцовщицы отошли уже верст шесть, до Индуры остается еще верст восемь по крайней мере. Да и пока доедет посланный – а по такой дороге много ли ускачешь! – пока приведет он подводу, сколько это времени пройдет?! Как быть-то тут!..

Я глянул вдоль по дороге вперед, глянул назад – не видать ли где какого-нибудь воза? Никого и ничего не видно. А несчастный между тем сильно страдает. Молчит, крепится, не хочет выказать перед товарищами всей силы своей боли, но по лицу, по скуловым мускулам, по сведенным челюстям видно, каково ему в эту минуту!.. Лицо его совсем побледнело, и все тело, бессильно растянувшееся на земле, колотила нервная лихорадочная дрожь. Тут еще этот ветер проклятый, эти взмёты холодного, сыпучего снега!.. Чтобы хоть сколько-нибудь защитить его от ветра, я приказал плотней и гуще сдвинуть вокруг него лошадей: все же как будто меньше чуточку продувает. Эскадронный Шарик, словно бы тоже понимая в чем дело, вдруг примолк и присел над лежащим солдатом и как-то пытливо засматривал в глаза то Катину, то окружающим его людям. И сидит себе этот Шарик такой грустный и озябший; хвостик поджал под себя, сам весь трясется, а ветер вздымает ему шерсть на загривке...

Прошло около получаса. Погода не унимается нисколько – и эскадрон понуро стоит себе середь чистого поля. Люди начинают уже озябать весьма и весьма чувствительным образом. И махание руками, и потапывание хоть и помогают, но уже очень мало. До которых же пор стоять-то! Я решился наконец на крайнюю меру, приказал привести одну из заводных лошадей и сблизить ее с конем Катина посредством связанных поводьев; затем велел достать три чумбура,

чтобы из двух устроить род переплета между седлами сближенных коней, закрепив узлами у четырех лук, а третьим привязать больного к этим наскоро импровизованным носилкам, на которые придется положить его поперек обоих седел. Хоть и очень неудобно, да все же лучше, чем лежать ему беспомощно под выюгой в поле.

Люди приступили уже к работе, как вдруг – гляжу – сзади приближается к нам издали что-то вроде тележки или повозки.

– Слава тебе Господи! – обрадовались солдаты. – Несет Бог кого-то.

Вскоре подъехал на паре сытых лошадок в легонькой нетычанке какой-то пан, вроде шляхтича-арендатора, с усами и узенькой полоской бакенбард, спускающихся под горло, в картузе и синей бекеше со шнурами на груди – одним словом, цельный тип зажиточного шляхтича-арендатора.

Мы остановили его.

– Чьто вам вгодно? – спросил он, оглядывая меня и людей: каким-то неровным взглядом, в котором отражались и недоумение, и некоторая доза трусливого замешательства, что вот, мол, зачем и для чего это остановили его вдруг «москевськи жолнержи», а вместе с тем и недовольство на нас за эту остановку.

– Вы куда едете? – спросил я в том предположении, чтобы попросить его довезти больного.

– А на цо то пану капитану?

– Да вот – несчастье у нас случилось: лошадь упала и солдат ногу, кажись, сломал, будьте так добры – уделите ему место в вашей нетычанке! Тем более, если вам по пути с нами... мы на Индуру идем.

Родовитый шляхтич, услышав мой тон, в котором не было ничего ни грозного, ни насильственного, ни начальственного, а была одна только просьба, искавшая у него лишь человеческого сострадания и помощи, вдруг изменил замешательное выражение своих глаз и лица, придав им самоуверенное спокойствие с чувством сознания собственного достоинства.

– Мне не по пути з вами, – коротко и сухо ответил он, – бо я спешу до дому, у свой фольварк.

И он дернул вожжами.

– Пойдите!.., одну минуту! – вскричал я, ухватившись за борт нетычанки. – Я вам заплачу за эту услугу... Сколько вы возьмете до Индуры?

– Звыните, я не фурман какой-нибудь! – с гордостью и сухо ответил пан.

– Я обращаюсь к вам не как к фурману, а как к человеку, и за то время, которое мы отымем у вас, я предлагаю вознаграждение... Ведь тут пустячное расстояние – всего каких-нибудь восемь верст... Угодно вам за это получить три целковых?

– Аль бо ж... я вже имел честь доложить господину капитану, чьто я не звощик.

– Я обращаюсь к чувству вашего сострадания... взгляните на этого несчастного...

– Н-ну, то й чьто ж мне до того?! Он для мене ни сват, а ни брат... и к тому ж у мене свой интерес есть... Звыните, не могу служить вам!

И он энергически хлестнул вожжами по своим лошадам.

– Вы заставляете меня употребить насилие! – крикнул я ему, ощутив в себе уже некоторый прилив досады.

– Пршепрашам!.. Ни мам часу, пане! – огрызнулся он мне через плечо и погнал лошадей.

– Остановить его, ребята!.. Живо! – крикнул я – и двое улан в ту же минуту нагнали родовитого шляхтича. Схватив с двух сторон под уздцы его лошадей, они повернули назад панскую нетычанку.

Пан даже побагровел от злости. Шляхетное лицо его изображало гром и молнию. Он, брызгаясь слюною сквозь усы, с жаром и бранью протестовал против улан, но те молча, преспокойно и равнодушно тащили к эскадрону его лошадей.

– Аль бо ж этое ест насылье, господын капитан! – кричал и жестикулировал он из своей нетычанки.

– Да, насилие, вызванное вами самими! – вполне согласился я с ним.

– Я протэстую!.. Я дворянин... и я не желаю возить ваших солдат!.. Я имею жаловатыця на вас, когда так!.. Я подам прошение до господина пулковныка, до губернатора, до самого начальника краю!

– Кому угодно и когда угодно!.. Держи, ребята, лошадей его! Да несите сюда Катина! Осторожнее только... легче, легче!.. Клади его в бричку!.. Прошу вас, посторонитесь немного, дайте место больному! – снова обратился я к пану.

– Та чьто ж этое такое!.. Чи я ест в плену у вас?.. Чи я ест повстанец який!.. Не желаю, а-ни-куды не желаю посторонитесь!.. бо я ест полны господарж своего экипажу!

– Не заставляйте меня прибегать к новому насилию! – предостерег я пана, в то время как вахмистр, «вежливенько» взяв его под руку, предлагал то же самое:

– Пожалуйте, добродзею, пожалуйте!.. Подайтесь чуточку в сторону... Честью просим вас!

– Н-ну, когда так, то я буду требовать сатысфакцию!.. Я сатысфакцию желаю!.. – кричал пан. – Звыните!.. Вы мне докумэнты у закону показить на этое!.. Я сатысфакцию буду требовать!

– Хоть десять!.. Живей, ребята! Не копайся!

Катину подостлали под больную ногу панского сенца и прикрыли его попонкой. Я приказал вахмистру нарядить особого унтер-офицера, который ехал бы рядом с панской нетычанкой и наблюдал, чтобы больному не было сделано какого-нибудь насилия или обиды.

Эскадрон тронулся далее. Панская нетычанка с ворчащим паном под присмотром следовала за нами в хвосте колонны.

Солдаты вдруг как-то нахмурились и приуныли.

Заметно было, что несчастное приключение с Катиним и его страдающий вид сделали на них свое впечатление. Песни уже не раздавались более, и даже разговоры почти совсем замолкли.

Смеркалось. Тьма на северо-востоке надвигалась все гуще и гуще, расплзаясь вверх и в стороны, и обращалась в какую-то черную мглу в самом зените неба. Только на западе, на краю горизонта, словно бы узкая щель, горела темно-багровым огнем длинная полоса заката – и контраст этой кроваво-огненной полосы с надвигающейся тьмой и мглой всего остального горизонта производил какое-то бессознательное, грустно-тяжелое впечатление: в нем как будто заключалось нечто зловещее. Один только Гюстав Доре в своих неподражаемых черных гравюрах умеет схватывать в таком совершенстве подобные контрасты тьмы и гаснущего света. Мне невольно вспомнились при этом два из его рисунков: последний момент библейского потопы и Дант с Виргилием, спускающиеся с голых и мрачных скал в пропасти Ада.

Эскадрон шел молча и грустно. Уже совсем почти стемнело. Края неба с дальними планами земли слились во что-то тусклое, мглистое, неопределенное. Вот из-за пригорка выглянули смутные очертания ветряной мельницы – словно бы какое привидение, поднявшее к небу руки, вставала она в стороне со своими крыльями из мглы, сливавшей все ее детали в один смутный, странный и фантастический очерк. Два-три огонька мелькнули впереди: мы подходим к Индуре. А несносный ветер, уже давным-давно остудивший все тело, не переставая, режет своими порывами щеки, забирается за рукава и сыплет в лицо колючей и сухой снежной пылью.

Каково-то этому бедному Катину теперь с его нервной лихорадкой!..

Вот и Индура. Слава тебе, Господи!

Приказав эскадрону, не останавливаясь, следовать далее, я остался пока в Индуре с вестовым и одним унтер-офицером, который должен был тотчас же отвезти больного назад в город

и сдать его в госпиталь. В Индуре находится станова́я квартира; есть, говорят, и фельдшер; но становой уехал куда-то по поводу «мертвого тела», а местного эскулапа тоже нигде не оказалось. Унтер-офицер побежал разыскивать сотского, чтобы тот распорядился тотчас же насчет обывательской подводой. Шановного пана держать было больше незачем. Трое мужиков сняли с повозки Катина и кое-как стащили его пока в становую квартиру.

– Звывают, господин капитан! – обратился ко мне шляхтич, но уже без гонора и задора, а более эдак в миролюбивом и даже в обиженно-беззащитном тоне. – И что ж я teraz так-таки й должен уехать?

– Можете ехать, можете жаловаться и требовать сатисфикацию – вообще, все, что вам угодно; но прежде позвольте вам вручить обещанную плату, – сказал я, подавая зелененькую бумажку.

Шляхтич, очевидно, никак не ожидал, чтобы сумма, предложенная ему сторяча, в минуту крайней необходимости, была уплачена сразу и без всяких пререканий.

– Благодарю вам! – спешно принимая деньги и быстро пряча их в карман бекеши, проговорил он очень ласковым и обязательным тоном. – Благодарю вам, господин капитан!.. Конечно, хотя й кони мои потомились и сам я столько время потратил... и увсе ж надо так говорить, что́ это ест насылье, – как хотите себе...

– Я с вами не спору! – согласился я. – Без всякого сомнения, насилие; но что ж делать, если вы поставили меня в необходимость употребить его! Очень жаль – все что могу сказать вам.

– Конечно так!.. Но, однако, я не имею до вас претэнзии... Я отлично понимаю, что́ тут была така необходимосць, така экстренносць... ну, и что́ ж изделать!.. Я понимаю... я сам как ест благородны человек и дворянин – я понимаю, еще раз благодарю вам!.. Звывают!

Шановный пан протянул руку, ища моего пожатия. Я не отказал ему в этой пустой любезности – и мы расстались.

Наконец-то отыскали сотского, который после довольно продолжительного и довольно бестолкового спора у корчмы с несколькими мужиками привел очередную подводую. Больному устроили мы из сена ложе, настолько покойное, насколько допускала наша скудная возможность, – и унтер-офицер с моей запиской повез его в город.

Мы с вестовым отправились далее.

Индур – это скверное, бедное и грязное местечко, расположенное на голой плешине и являющее собой безотрадный вид пепелища. Оно горело несколько раз, почти периодически, и все не может отстроиться как следует. Мы скоро оставили его за собой.

Багровая полоса на западе уже совсем потухла – и прикрытые снегом поля снова охватили нас со всех сторон, тускло белеясь при слабом свете облачной ночи. В нескольких шагах, впрочем, можно было разглядеть черные стебли репейника да бурьяна и белые дымки снега, взметаемого завирухой по краям дорожных канавок; но впереди уже ничего не видать, кроме безразлично и неопределенно стоящей перед глазами какой-то мглы белесоватой. Давно ушедший эскадрон не виднелся темным пятном в этой мгле, и мы не стремились нагонять его, а шли себе осторожным шагом, так как лошади все еще иногда скользили и оступались на гололедных местах да по глубоким колеям и ямам. Дорога к тому же была прямая, и до Прокоповичей – места нашего ночлега – оставалось уже верст около двух, не более.

Вот и кладбище виднеется влево, в нескольких саженьях от дороги. Высокие темные кресты – которые прямо, которые сильно покосившись – печально глядят на нас с плешины голого пригорка и как будто простирают объятия своими поперечными брусьями.

Миновали кладбище. Мой вестовой Свиридов ехал шагах в трех за мной. Вдруг наши кони захрапели и шарахнулись в сторону. В ту же минуту, как стрела, пущенная из лука, мимо меня промчалась лошадь Свиридова, ударилась в сторону и понесла вдоль по полю. Мой Ветеран тоже было ринулся за ней, но я на первых же скачках упруго и сильно взял на себя повод и,

весь подавшись корпусом назад, сильно осадил его. Унесшийся вестовой мелькнул мне в глаза еще на одно мгновение темной точкой и исчез в белесоватой мгле равнины. Ветеран, нервно переступая ногами, беспокоился, вздрагивал всем телом, храпел и пугливо поводил настороженными ушами.

– Го-о ля!., го-о ля! – ласково подавал я ему голос, оглаживая и стараясь успокоить. Зная, насколько портится лошадь, если оставлять ее под впечатлением страха, не разъяснив себе причину его и не заставив умное и смышленное животное во что бы то ни стало вернуться к испугавшему его предмету, дать разглядеть его, пройти мимо раз или два и, таким образом успокаивая, убедить его, что страх был напрасен, – я повернул назад моего Ветерана.

Ему крепко не хотелось этого, однако ж я без шпор заставил его покориться своей руке, своему шенкелю и ласковому голосу.

В нескольких шагах от дороги лежал обглоданный труп крестьянской лошади. Вероятно, бедняга пала во время сильной распутицы и невылазной грязи, измученная вконец непосильной тяжестью громоздкого воза и изнуренная голодом.

Я заметил, что от падали убегали, поджав хвосты и понуря голову, две собаки. Они трусили по целине неспешной, вихлявой волчьей побегой, приседая слегка на задние ноги и ковыляя по вспаханному, глыбистому полю. Ветеран храпел, дрожал и не хотел пройти мимо падали. Я должен был слезть с него, взять под уздцы, и только таким образом, проведя его дважды около трупа, мне удалось достигнуть своей цели. Лошадь, по-видимому, убедилась, что страх ее был ложен, однако же, когда я снова сел в седло, она все еще по временам чутко подымала голову в ту сторону, куда побежали собаки, насторожила глаз, поводила строгими ушами и пытливо нюхала воздух.

Вдали на одно лишь мгновение как будто мелькнули две искорки каким-то зелено-вато-фосфорическим светом: мелькнули и исчезли.

Волки это, что ли? Или мне только так показалось?

– Ого-го-го-о-о-о! – донесся до меня сквозь свистящий ветер бог весть из какой-то дали оклик человеческого голоса.

«Верно, Свиридов», – подумалось мне, и я на всякий случай подал ему ответный крик.

Минуты три спустя оклик повторился уже значительно ближе, и через несколько времени я заметил темный приближающийся предмет.

– Свиридов... ты?

– Я, ваше благородие!

И он верхом показался на краю дороги.

– Ишь ты, сволочь проклятая, занесла! – бормотал он, впрочем, без всякой досады. – Чуть из седла не вышибла!.. Эко дело какое!

– Куда это ты, брат, летал на ней?

– Да понесла, ваше благородие... спужалась... С версту, почитай, в сторону прорвало ее, лешего... не дай Бог!.. Чуть не застрял было в мерзлом болоте – там только и очуствовалась... Ишь ты, грех какой!

– А ты зачем поводья распускаешь? Оттого и занесла!

– Виноват, ваше благородие!.. Оно точно что... да уж руки больно зашлися, просто смерть как сомлели с морозу... Это аны, ваше благородие, волков так спужались, – добавил он через минуту.

– Нет, брат, вернее, что дохлой лошади.

– Никак нет-с, ваше благородие, – волков. Уж это будьте благонадежны!

– Какие там волки! Просто, голодные жидовские собаки.

– Никак нет-с, потому я сам изволил видеть... Он так на меня зиркнул этта... словно как свечкой!.. Ей-богу-с!.. Их пара тут была.

– Пара-то пара; это и я заметил.

– Так точно-с. И што ж, мудреного тут нету, потому им теперича этто самая их голодная пора подходит. Со мной этто однажды был случай эдакой, – примолвил он, понизив несколько голос, после короткого молчания.

– Какой такой случай?

– А так-с. Мы еще тодысь в Тверской губернии стояли. Послали меня в штаб, в город, значится, в Бежецкой; а эскадрон уже на зимовых квартирах стоял. Вот, этто, возвращаюсь я из штаба, а дело-то уж под вечер было; совсем, почитай, смерклося. Аны на меня и напади. Семь штук – за волчихой, значится, ходили... Ну, и голодная пора тоже; надо так полагать, что время уж под Святки подходило. Дорога-то мне лежала через лесок, и лесок-то эдак совсем махонькой – одно слово, совсем пустяшный, нестойкий лесок, и тут-то аны откелева ни возмись и напади! Лошадь, известно, шарахнулась и понесла, а аны за ею! Да так ведь, шельмы, и бегут не отставая! Как увязались, так и бегут. Вижу я: конь устает – трудно этта, чижало ему. Што тут делать! Совсем беда приходит! Потому лошадь, известно, вещь казенная и за ее в ответе надо быть; ну, опять же и жалко лошадку; не дай Бог потиранят – кто тогда виноват? – один я, значит. Подумал этто я себе, перекрестился да и выхватил саблю. Гляжу, а один так-таки прямо под горло коню и кидается. Я изловчился да и полоснул его. Взвыл, подлец, и отстал. Гляжу, другой с левого боку наровит зубами за ногу меня цапнуть – я его пырнул. Он и покатился. Так что ж бы вы думали, ваше благородие, какой это зверь бесчувственный! Одно слово, волк, так уж волк и есть! Как только он покатился, другие этто все на него накинулись и давай его рвать зубами. Даже и про меня позабыли. А я тем часом шпоры – и убёг! Тем только и спасся. Ходил на другой день утречком, думал себе этто, коли ежели шкура осталася, так подобрать да продать ее; однакеж ничего не нашел, окромя маленькой эдакой следок крови ево остался, а самого не нашел. Должно, кто ни на есть ехал да и подобрал себе мою работу. Так только, значит, задаром и прогулялся! А вот, ваше благородие, уже и Прокоповичи! – добавил он, указав рукой по направлению к темной массе, которою неясно обрисовалась впереди нас деревня.

Огонек мелькнул в каком-то оконце.

Слава тебе, Господи! Первый переход кончен, и минут через Десять меня ждет уже постель, и отдых, и стакан горячего чая!

3. На ночлеге

У околицы, где торчали два-три покосившихся и подгнивших креста, встретил меня квартирьер и отрапортовал, как должно по форме, что квартиры заняты были квартирьерами исправно и эскадрон уже размещен.

– А где моя квартира? – спросил я.

– А тутотка-с, неподалечку. Позвольте, я покажу вашему благородию.

И квартирьер пошел несколько впереди моей лошади.

– Только вам... не знаю уж, понравится ли... – с запинкой проговорил он сомневающимся тоном.

– А что так?

– Да больно плохая кварта-с.

– Так вы чего же глядели-то? Разве нельзя было занять которую получше?

– Никак невозможно-с. Потому эта что ни есть самая прекрасная: хата, по крайности, попросторнее и печь при ей имеется, а продчия все не в пример сквернее-с, потому – как есть курные хаты: и холодно, да и грязно-с.

Значит, из худшего менее худое. Ну да нашему брату привередничать в этих случаях не приходится: что есть, тем и пользуйся; и притом не в первой уже!

Я соскочил с коня перед низенькой дверью хаты, к которой привел меня квартирьер. Он прошел в темные сени, указывая мне дорогу, и раскрыл дверь, из которой повалил чадный пар клубами.

– Бог помочь, хозяева! – проговорил я, войдя в хату.

– И на веки веков. Амен! – ответил мне из угла сиплый, как будто сдавленный в хилой груди мужской голос.

В хате было жарко натоплено, так что под потолком ходил, как в бане, густой и прелый пар, скопившийся от действия теплоты на отсыревшие стены. Припахивало тем угарцем, который остается от рано закрытой печи после выпечки хлебов.

Я осмотрелся в этом паре, но нигде не нашел и признака моей походной кровати.

– А где же вещи мои? – с удивлением обратился я к квартирьеру.

– Не могу знать.

– Да разве Бочаров с фурманкой не приезжал сюда?

– Никто не приезжал. Мы целый день здесь, а никого не видали; да кабы приехал, так ему, окромя как сюда, и деваться некуда.

– Милый сюрприз – нечего сказать!.. Только его и недоставало!

Я осмотрелся, выгадывая себе, как бы получше устроиться в данном положении. У двух стен находились плотно приколоченные и вбитые в земляной пол узенькие лавки. Улечься ни на одной из них не было почти никакой возможности: и узко, и мокро – потому что со стен течет. Я приказал принести себе куль соломы и бросить его на пол в наиболее чистом переднем углу. Но, черт возьми, как есть хочется!..

– Хозяин! Нет ли у вас чего-нибудь закусить?

– А ничего нема, паночку!

– Нет ли похлебки какой, что ли, какого-нибудь кулешику, или гороху? Разогреть бы, коли холодный?

– Та не, кажу, паночку! Якой-с там кулешик, када и у доме крупы нема!

– Ну, может, яйца есть или сало?

Хозяин усмехнулся с какой-то едкой горечью.

– Э! – безнадежно махнул он рукой. – Ани сала, а-ни яец – вичого! Адна беднота та цеснота, што и-и Боже мой!..

– Да сами вы едите что-нибудь?

– А так. Ядмо, алеясь и яда таковська! У воду покидаемо скариночки хлеба та цибульку, та ось и уся яда!.. А сало, – прибавил он, помолчав немного, – як кабаны поколим, то и сала тоды сдабудзем!

Плохое утешение! Впрочем, Свиридов побежал по деревне да в жидовскую корчму – промыслить для меня чего-нибудь съедомо-го. Я скинул с себя амуницию и закурил папиросу, которая, как известно, перебивает голод, – «а тем часом, думаю себе, авось-либо и Бочаров с фурманкой подъедет». Начинаю приглядываться к обстановке моего ночлежного обиталища. Длинная лучина воткнута в стену и неровным светом озаряет хату. Около лучины сидит с прялкой старуха и молча, сосредоточенно, с каким-то пришибленным выражением в лице, прядет кудельную пряжу. Монотонно-мерный звук прялки и веретена носит в себе что-то грустное и усыпляющее. Хозяин сидит понуро, и по лицу его не разберешь: думает ли он о чем или уж до такой степени пришиблен каким-то внутренним гнетом, что и думать перестал давным-давно о чем бы то ни было. На печи храпит хозяйский сын, умаявшийся за целый день на работе. Двое босых белоголовых ребятишек сидят около прядущей "бабульки*" и с выражением тупого, полуиспуганного недоумения поглядывают то на меня, то на бабульку. Третий ребятишек – сопливый, замурзанный двухлеток, поджав под себя ноги, сидит на припечку в теплой золе и сосет корку хлеба. И все это – хоть бы слово проронило! Упорное, тупое, сосредоточенное молчание прерывается по временам только тихим квохтаньем кур да хрюком поросят, ютящихся под печкой. Но зато тишину хаты наполняют непрерывный звук прялки, цвириканье запечного сверчка да чье-то трудное, тяжелое дыхание за перегородкой.

Вдруг из-за той же перегородки раздался крик и плач младенца.

– Марьянка! Ходзь поколышь яиу! – тихо сказала бабулька.

Белоголовая девочка, шмыгнув носом, сползла с лавки и ушла за перегородку. Оттуда послышался тихий скрип качаемой зыбки как бы в дополнение к стуку бабулькиной прялки. Но плач и стон младенца не унимался. В этом слабом стоне слышалось что-то хилое, болезненное.

Прошло более получаса, а ребенок все пищит, и белоголовая Марьянка, не переставая, колышет зыбку.

Растворилась дверь, напустив из сеней клубы холодного воздуха, – и в горнице показался вахмистр, при сабле, но с какой-то дымящейся кружкой в руках. Поставив на стол эту кружку, он формальным образом отрапортовал, что в эскадроне все обстоит благополучно.

– А фурманки-то все нет, ваше благородие, – сказал он, переждав минуту после рапорта. Я пожал плечами.

– Не прикажете ли, ваше благородие, чайку? – продолжал Андрей Васильич. – Я кружечку захватил для вас, ежели не побрезгуете.

– А, спасибо, голубчик! – с удовольствием согласился я. – Где ж это ты его добыл?

– А с собой было малость захватимши. Мы этга вскипятили кипятка да в ём-то чай и заварили-с. Кушайте на здоровье, ваше благородие, пожалуйста-с!

С голодухи я просто с наслаждением глотал горячий вахмистерский чай и в душе был искренно благодарен старому Склярову за его внимание. И в самом деле, у наших солдатиков это замечательная характерная черта: в какую бы то ни было критическую минуту – вот хоть бы подобную настоящей, – они никогда не забудут своего офицера и поделаются с ним последним куском; всегда сами, первые, радушно и бескорыстно предложат что бог послал; и откажись офицер – солдат в душе, наверное, обидится и мысленно обзовет его «гордым».

Пришел Свиридов и принес кусок черствого козьего сыра да солдатского хлеба.

– Больше ничего нету, ваше благородие! – доложил он. – Всю деревню избегал – нигде ничего! Бедность этга у них, что ли, уж такая: ни молока, ни сала – как есть ничего! У жидов шабаш взошел – тоже, значит, не отпускают. И то уже насилу выдрал сыру вот!.. Булочка есть

у меня, ваше благородие! – добавил он, вынимая из кармана шинели круглый белый хлеб. – Не прикажете ли-с?

– Нет, брат, спасибо! С меня пока и этого будет довольно! – отказался я, не желая лишить солдата лакомого куска.

– А ты где ж ее добыл? – спросил его вахмистр.

– А давеча-с при переправе купил у торговки... думал этта на закуску себе.

– Ишь ты! Запасливый! – ласково кивнул на него Андрей Васильич. – А что это у вас тут такое пищит-то все? – обратился он к бабульке.

– Дзецко, – коротко ответила старуха.

– Дзяучинка маленька, – добавил в пояснение хозяин.

– Ну, этто их благородию беспокойно будет, – заботливо заметил вахмистр. – Вы б ее уняли как...

– А як яну уйматы! – пожал старик плечами. – И то вже хлопчики наши – ось, – калыхаюць-калыхаюць сабе калябку, та ни чого не зробяць!

– Э!.. С чего ж этто она так-то?

– А хвора, дабрадзейку!.. И matka хвора, и дзяучинка хвора... Так бедуймо, што и-и!.. ховай Боже!

– А matka-то где ж?

– А ось-там коло калыбки ляжиць у безпамяцю...

– Дочка тебе, что ли?

– Не, сынова женка.

– Чем же она хворает-то?

– А хто е знае!.. Так сабе, хвороба якость-то вже дзевьяты дзень пай шоу...

– И все без памяти?!

– А так: у безпамяцю... ни сама а-ни кавалка хлеба не зьесть, а-ни дзецка не гадуе.

– Э!.. Так дитё, должно, этта с голоду-то у вас и пищит... Грудное еще, что ли?

– Але, – подтвердил хозяин.

– Так вы бы ево хоша молочком отпаивали, – сердобольно посоветовал Скляр.

– А дзе ж яво узяць! – горько усмехнулся старик. – Як бы кароука, дак бы и малако было, а то гэть-ничого нема на усем гаспадарстве!

– Однако, чем же вы дитё-го кормите? Соской, что ли?

– А так!.. Ось, бабулька моя пажуець хлебца та й паробиць соску – так се й гадуе!

Вахмистр сочувственно и скорбно покачал головой.

– Где больная-то? – спросил я, окончив свою скудную закуску.

– А ось тутей, паночку, – указал хозяин.

– Можно видеть ее? – осведомился я, предполагая указать ему на какое-либо сподручное средство помощи.

– А вжеж! – кивнул он головой.

Мы вошли за низенькую перегородку, не доходившую до потолка на аршин. Старик светил нам лучиной. На паре досок, сколоченных вроде нар, лежала на каких-то грязных лохмотьях молодая женщина. Открытые глаза ее были живы, но глядели тупо, неподвижно, бессмысленно. Дыхание с трудом вырывалось из груди. Достаточно было одного взгляда, одного прикосновения к пылающему лбу, чтобы определить безошибочно сущность болезни: это был несомненный и глубокий тиф. Я объяснил хозяину, что хвороба его невестки прежде всего требует чистого и прохладного воздуха и по возможности более света; что накаливать до угару печь и держать больную в этих потемках за перегородкой для нее в высшей степени вредно. Объяснил я ему также, каким образом делать и прикладывать ей к голове холодные компрессы.

– Дзякуймо, паночку! – с явным недоверием поблагодарил старик. – Але ж циперачки гля ей, дбаймо так, што вже ни чого не треба, бо яна усе едзино памрэць!.. От, дочка моя, так

само ж, – продолжал хозяин, – усе у безпямяцю була, та й вмерла... позавчора вже й поховали на цментаржу... А ни чого не паробить!..

И он махнул рукой с тем покорным равнодушием, которое является плодом горя сильного, безысходного и притупляющего душу.

– Андрей Васильич! – тихонько отнесся к вахмистру Свиридов. – Надо бы покормить чем ни есть рабенка-то!

– Надо, – согласился Складов, – да чем покормить?

– А вот-с, ежели теперича милость ваша будет, што сваво чайку одолжите-с, так я бы сейчас сбегал... Да вот их благородие уже и кружечку опростали... Можно-с?

– Ну, ладно, беги... да гляди, в накладку налей, чтобы послаще было! – сказал ему вахмистр вдогонку.

Свиридов через пять минут принес полную кружку, осторожно и неуклюже держа ее обеими руками, *с опаской", чтобы не пролить.

– Надо бы с ложечки, – заметил Андрей Васильич.

– Никак нет-с, мы ей смастерим соску.

– Да с чего же соску-то?

– Ас булочки... Я свою булочку стравлю... Наквасим этта мякишу – и даже очинно прикрасно будет!

– Ну, дело, малый!.. Это хорошо! – похвалил Складов, и два усатые добряка принялись мастерить месиво больному ребенку.

– На, баушка! Сунь-ка маладенцу в ротик – пушай пососет! С эстого он, даст Бог, здоровей станет! – сказал Свиридов, по окончании стряпни подавая старухе сверченную из чистой тряпицы соску. – А этто вот тебе пушай напослед будет: тут вот еще полбулочки да полкружки чайку осталось, так оно, значит, и на завтра вам хватит. Бери себе с Богом! Христос с тобою!

– А сам жа-ж ты, саколику?... – сердобольно отозвалась старуха, стесняясь несколько принять от солдата остаток его булки.

– Да уж об нас-то, божья старушка, ты не печалуйся! Мы и камешек погрызем, так и то сыти будем – дело солдатское!.. А ты ничего! Ты бери, не сумлевайся!

– Дзякуймо вам, дабрадзеи! – поклонились солдатам хозяева.

– Не на чем, баушка, не на чем! Хорошо, хоть и это-то нашлося!

Ребенку вложили соску – и в ту же минуту он замолчал и успокоился. И опять тишина хаты наполнилась звуками прятки, скрипом зыбки да цвириканием сверчка за печью.

Я отослал от себя на покой и вахмистра, и вестового, а сам расположился кое-как на куле соломы.

Я чувствовал изрядную усталость. Бессонная ночь накануне, моцион длинного перехода, целый день, проведенный на воздухе, – все это в совокупности позывало на отдых. Сомкнув отяжелелые веки, я думал, что тотчас же засну под монотонный звук бабулькиной прятки. Но сверх ожиданий сон мне не давался. Я погрузился в какое-то забытие, урывками возвращаясь к действительности, чтобы вслед за тем опять забыться на некоторое время. Чувствовал только, что голова тяжела, что в ушах стоит звон и шум какой-то: может, от прятки, а может, и кровь играет. В уме всплывают и тонут какие-то образы, какие-то смешанные грезы: то блестящие на дебардере Эльсинорской и лихая мазурка Хлопицкого, то «гоноровы и поржондныччеловек», который, раскланиваясь, говорит: «Благодару вам, господин капитан!» – то эскадронный Шарик, сидящий в поле над бледным Катиним... булочка голодного Свиридова... тупой взгляд широко раскрытых глаз тифозной женщины... сверчок и прятка... опять больной писк ребенка... Апроня с бокалом вина подымается... опущенные усы майора шевелятся над пламенем жженки... опять Эльсинорская и еще кто-то и где-то, но кто и где – не разберешь... «Гой-вы улане малеваны чапки»!.. Мадам Хайка кланяется и кричит: «И прищайте, и прищайте!».. Наконец, все это путается с обрывками каких-то мыслей, ходит большим колесом

перед сомкнутыми глазами, окутывается белым туманом снежной ночи и тонет, тонет в нем бесследно и неведомо где – и вот тяжелый, глубокий сон окончательно оковывает и мысль, и усталое тело.

Много ли и долго ли спал я – не знаю. Проснулся – потемки... хоть глаза выколи! – тусклая ночь мутно глядит в маленькое оконце. Спросонья в первую минуту решительно не разберешь, что это такое, и никак не понимаешь, где ты и что с тобою. Это часто бывает с людьми, когда приходится спать в новом незнакомом месте. Чувствую только, что до ломоты отлежал весь правый бок, что рука затекла до колючих мурашек, а в голове такая тяжесть, такая боль в висках и звон в ушах, и пить ужасно как хочется... Воздух в хате сперся и напирал до того, что нет уже возможности вынести этой атмосферы.

«Должно быть, я угорел», – подумалось мне, и вот, припоминая себе расположение хаты и свое место, я ощупью пробрался к двери, вышел в сени, нащупал там новую дверь и, выйдя на двор, уселся на «призьбе», жадно впивая в грудь ночной, освежающий воздух.

Ветер утих, сухая метель улеглась, и небо прояснело. Яркие звезды сверкали острыми, морозными лучами в темно-синей глубине. По всей деревне сон и тишина невозмутимая.

Вот слышу – приближаются издали чьи-то поспешные хрусткие шаги... лязгнула сабля, поддетая на крючок... Вот две темные фигуры тихо проходят мимо.

– Ночные? – окликнул я.

– Ночные, ваше благородие! – откликнулись солдаты, узнав меня до голоса.

– А как, ребята, полагаете: много ли времени теперь?

– Да надо быть, полночь, ваше благородие... недавно петухи пели.

– Не приезжал Бочаров с фурманкой?

– Никак нет-с!.. Не чуть было...

Это обстоятельство начинало меня уже несколько беспокоить: куда бы мог он запропасться? и не случилось ли с ним чего?.. Но чему случиться – кажись бы, солдат смывленный и трезвый, расторопный.

«Дай хоть пройдуся да для порядку загляну по конюшням, – подумал я себе: – авось-либо, походя, голове легче станет».

Тут я вспомнил, что в кармане пальто у меня были ветряные спички. Паля их одну за другой, я осветил себе кое-как сени, отыскал дверь и нашел в хате свою шапку. Воздух там показался мне, после освежения, таким, что только бы бежать поскорее! Пока я, сжигая спички, отыскивал шапку, больная тихо бредила что-то за перегородкой. Этот больной, надтреснутый и вместе с тем какой-то дикий голос просто всю душу вымучивал.

Я пошел в сопровождении одного из ночных по деревне, заглянул в одну, в другую, в третью конюшню, или, вернее сказать, в хлевы, где рядом с крестьянской скотиной, по необходимости, теснятся и наши кони: ничего; все и везде, как выражаются солдаты, «обстоит благополучно». Люди в полушубках спят себе покойно тут же, в уголках, подостлав под себя ворох сена либо куль соломы да покрывшись с головой шинелями. На походе редко который из них остается в дымной и тесной курной хате: большая часть, несмотря на зимний холод, ночует около своих коней во избежание какого-либо несчастья, вроде пожара или конокрадства.

Но вот – чу! – слышно гроыхание громоздких колес по мерзлой дороге... все ближе и ближе. "Уж не мой ли Бочаров*, – думаю и пошел навстречу. Так и есть: моя бричка!

– Где это вас нелегкая до сих пор носила?

– Виновати, ваше благородие! Тут такое случилось, что и не приведи Бог!

– Что еще?

– Да как же-с! Изволили вы этта приказать, чтобы ехать нам наперед; а он, подлец, возьми да и свороти в сторону...

– Кто он?

– Да фурман-с. Говорит, тут, мол, ближе и скорее доедем. Я с дуру-то и послушайся – думал, что путное говорит, а он этта, проехавши верст пяток, остановился маленько у корчмы у одной – покормить, говорит, коней малость надо; не более как с полчаса, говорит, забавимся. Я этта остался при вещах, а он, сволочь, в корчму пошел. Гляжу – ан выходит оттелева распьяно-пьянешенек... Вот сами извольте посмотреть: и до сей поры лыка не вяжет, почитай что в бесчувствии лежит в бричке-с. Я как уложил его, так сам и поехал, но только дорога мне по эфтим местам совсем, значит, новая и незнакомая... Кабы просто нашим обнаковенным трахтом на Индуру бы ехать, так ту-то дорогу я знаю доподлинно, а по эфтой никогда не доводилось... а тут стемнело да выюга этта – я и сбился с пути. Так вот и плутал не весть где, пока добрые люди – спасибо – не вывели на настоящую дорогу! Ну, да уж и накостылял же я ему за это! Надо, ваше благородие, беспременно взыскать! потому это непорядок!

Подозрения на Бочарова я не имел: он известен всему эскадрону как солдат честный, правдивый и совсем не пьющий, да и видно было, что он трезв совершенно; а фурман действительно лыка не вязал – и преспокойно храпел себе в бричке, уткнувши нос в небо.

Я приказал поскорее раскинуть себе походную постель, только не в хате, а в сенях, что и было исполнено при свете фонаря, и улегся на холодную подушку, покрывшись меховой шубой. Этак, по крайней мере, было и лучше, и здоровее, и удобнее.

Под утро – чую сквозь сон – кто-то ходит и возится рядом со мной, и вот над ухом слышится уже сдержанный, осторожный голос Бочарова:

– Ваше благородие... а, ваше благородие...

Продирать глаза – смерть, не хочется! И притворяешься, будто не слышишь.

– Ваше благородие!.. а, ваше благородие! – слышится снова и минутку спустя. – Извольте вставать – пора уже!..

– Ах ты варвар! И выспаться не дашь! – бормочешь ему, зевая и потягиваясь.

– Ваше благородие!.. Самовар готов-с!

Высовываешь нос из-под шубы – и в сероватом свете занявшегося утра видишь, как на пороге кипит уже походный самовар и чайник на нем белеет, а на скамье стоит раскрытый погребец, и стакан уже приготовлен, и фаршированный поросенок со всею свойственною ему угнетенною невинностью выставляет из сахарной бумаги свое жареное рыло, а Бочаров стоит уже над душою с полотенцем и ковшиком воды.

– Мыться извольте, ваше благородие, – сон как рукой снимет.

И точно: плеснул несколько раз на лицо студеной водой – и откуда свежесть да бодрость взялася! Не успел еще утереться, а проворный вестовой доликает уже чайник и вслед за тем преподносит стакан ароматного чая, который на холодку пьется почему-то с великим аппетитом.

А вот и Андрей Васильич в дверях появляется:

– Ваше благородие, эскадрон в сборе, и квитанция получена.

Давши хозяевам, в благодарность за ночлег, на лекарство, или, вернее, на похороны для больной, я оставил мою темную, грустную, неприглядную хату и вышел ко фронту.

Через пять минут начался уже второй переход... Те же кони, тот же Шарик, те же поля с крестами и перелесками и те же «не белые снега» – в поле и в устах разливиистых подголосков.

4. Приход в Свислочь

День был серый и, так сказать, беспросветный, когда эскадрон наш после второго ночлега делал свой третий и последний переход. В поле мела завируха и стоял такой крутень, что хлопья мокрого снега, вертясь и кружась перед глазами, словно бы несметные рои каких-то одухотворенных существ, застилали непроницаемой завесой всю окрестность. Этот снег залеплял глаза и чуть лишь находил удобное местечко, вроде складки платья, там и залегал целой грудкой. Набивался он и в гривы лошадям, и в баки людям и на донца шапок наседавал, как будто слой пушистой ваты. Пренеприятная погода! – особенно эта снежная мокреть, тающая потеками по лицу и заставляющая ежиться из опасения, как бы она не протекла за шею, доводила просто до глупой досады. По лицам было видно, что в голове у людей засела гвоздем одна лишь мысль, как бы поскорей уж добраться до стоянки! Завируха эта началась с раннего утра и преследовала нас в течение целого перехода. День был воскресный, но по такой погоде не попалось нам навстречу ни одних саней с круглолицей, курносой бабой в пестром платке на задку «полукошика» и с мужиком на передку, которые в воскресенье обыкновенно попадают на дорогам, возвращаясь из местечек, куда они приезжают «до косциолу або до церкви». Жизнь полей заявляла себя одним лишь свистом снежного крутенья; но ни одного птаха, ни одного галчонка, ни единой даже старой карги-вороны не виднелось по краям дороги: все это позапряталось, куда Бог привел, и, нахохлясь да уткнувши нос под крыло, пережидало, когда-то наконец утихомирится эта скучная непогода.

Не доходя восемнадцати верст до Свислочи, от эскадрона постепенно стали отделяться его взводы. Вот и перекресток дорог, обозначавшийся давно знакомым крестом с резным изображением «пана Иезуса», на котором трепался под ветром цветной лоскут пелены, подвешенный в виде юбки чьею-то благочестивой рукой; на крышечке, осеняющей фигуру Христа, и на поперечных брусках тяжело нахлобучило целые шапки пушистого снега. У этого перекрестка отделился первый взвод и свернул по дороге к своим квартирам, назначенным ему в одной из деревень на первых два зимних месяца. Пройдя несколько верст, отделился третий и четвертый, потом второй, так что со мной остался только эскадронный штаб, учебная эскадронная команда да еще команда молодых, дурноезжих и художонных лошадей, которые требовали особенной выправки и ухода в течение зимних месяцев под непосредственным надзором эскадронного командира.

– Ваше благородие! – подъехал ко мне вахмистр. – Позвольте людям песни поиграть! Очинно желают!

– Песни! Да где же песенники-то? Ведь все почти разбрелись со взводами?

– Это ничего-с, кое-кто наберется, да, впрочем, теперича кто и не песельник, так и тот будет орать – больно зябко уж!

– Пускай их, коли охота!

– Вали, ребята! – одобрительно махнул им Складов, как видно, довольный полученным разрешением.

Ребята подбодрились, отряхнулись и «повалили», хотя без бубнов, которые отсырели от мокрети и, значит, не могли уже действовать; зато яркая махалка с мокрыми лентами ходила с большей против обыкновенного энергией, и медные тарелки отбивали такт, словно бы звоном своим желали пересилить свист завирухи.

Аи, да раскудрявь, кудрявь, кудрявь-да
Рраскудрявая моя! –

отчеканивали громкие и бойкие голоса развеселую песню про вешнюю зеленую березыньку.

Нечего сказать, и песня как раз по сезону!..

А крутень завивается, да лепит хлопьями в глаза, и знать себе ничего не хочет!

Но вот порой на минутку словно бы и притихнет ветерок, и хотя снежина все-таки валит себе хлопьями, но сквозь этот снежный вуаль можно как будто и распознать длинную-предлинную полосу, которая слева чернеется впереди на дальнем горизонте: это выступают окраины громадной пуши, в глубинах которой бродят, как последние могикане вымирающей породы, могучие зубы Беловежи.

Вот и деревня Рожки с заброшенной панской усадьбой, отданной на аренду еврею со всем ее садом, бельведером, беседками и прочими затеями панского досужества, дуплистые корявые ветлы какими-то уродливыми бородавками красиво торчат по берегу болотистого и запруженного ручья. Этот ручей, изобилующий карасями и жабами, сплошь зарос камышом и гибкими кустами тонкого лозняка, который красноватыми прутьями своими резко выделяется на снежном фоне всей картины вместе с черными, помпоновидным и шишками камыша, почему-то напоминающими мне своим видом артиллерийские банники. Из-за садовой ограды глядят высокие, древние деревья с черными гнездами, грустно и задумчиво перевесившись на дорогу своими ветвями, которые никнут чуть не до земли, отягченные насевшими на них комьями снега.

Команда наша вступает на низенький, дырявый мостишко.

– Под ноги! – кричит по обычаю вахмистр, остерегая людей, чтобы те внимательней следили, как бы часом которая лошадь не застряла копытом да не покалечилась бы в мостовой продолбине.

Своротили влево, а там в трех верстах уж и Свислочь видна со своим каменным обелиском, костельною башней и каменными воротами, поставленными при въезде, вроде какой-то триумфальной арки. Вот знакомая сосновая рощица, где водятся белки; вот озерко небольшое, где мы бивали уток; вот кладбищенская роща, среди которой белеются стены каплицы, а вот наконец и она, неизменная жидовская корчма, которая, убоясь изобильной конкуренции в самом местечке, хитровато выскочила за околицу и, подмигивая своими подслеповатыми, окривелыми оконцами, как бы говорит каждому мимо идущему: «Зжвините!.. хоць на еден ки лишек!»

Вдоль по улице метелка метет, –
За тетелвцей уланина идет! –

свищет и шелкает, и гаркает, и ухаёт моя команда, – и с этой песней, вся запущенная и занесенная снегом, вся белоусая, белобровая, белобородая, вступает в улицу местечка, цо которой в эту минуту действительно метет разлихая метелица.

Еврейское сердце не камень: слышав знакомые звуки, все эти Лейбки и Мошки с Васьками и Рашками и со всем племенем и потомством высыпают в чем ни попало за пороги своих домишек и, потряхивая пейсами да скаля улыбками зубы, кланяются, кивают и ныряют вперед головами и бородами и с розовой мыслью о предстоящих гандлах и гешефтах встречают нас своими приветствиями:

– А! гхэто ви-и... Сштари зжнами! Пэрвши сшквadroон!.. Зждрастуйте вам! зждрастуйте вам!.. Мы таии рады вам, сшто ви изнов попереходили до нас!.. З жжимним кварталом!.. Дай вам Бозже!..

На площади команда останавливается, и квартирьеры разводят ее по конюшням.

Самая «вальготная» стоянка для солдата – это, бесспорно, стоянка «во взводе», т. е. в той глухой деревушке, брошенной в какую-нибудь часто непроездную и невылазную трущобу, где

назначено стоять его взводу. Иногда взвод разбивается и на две смежные, ближайшие деревушки. Начальства над ним тут всего лишь один взводный вахмистр, и службой его несравненно менее донимают. Иногда бывает и так, что один эскадрон раскинется по широким квартирам верст на двадцать расстояния. Придет солдат на зимнюю стоянку и станет, конечно, к знакомому хозяину, где стоял он и прошлую, и позапрошлую зиму. В этой курной хате он свой человек, особенно если полюбился хозяйке или хозяйской дочке – его так уже и считают своим человеком. Накормят его чем Бог послал, но уж, конечно, тем, что и сами едят, и не их вина, если едят они испокон веку плохо, кроме картошки да гороха ничего не смакуточи; разве что когда к Рождеству да к Святой «кабаны поколят» – то тогда и борщ со свиной, и кашу с салом на стол подадут, а в обыкновенное время все больше картофельного «затиркою» да кулешиком пробавляются. Литовско-русский крестьянин просто поражает глаз непривычного человека своим хилым, болезненно-бледным, робко-забитым и как бы отошальным видом. Виною этому кроме нравственного гнета недавних времен польской панщины служит, конечно, его скудная, малопитательная пища при изнуряющем мускульном труде над малоблагодарной почвой. Но этот забитый хлоп очень добродушен и радушно делится с солдатом своей картошкой. Женка или дочка его непременно моет белье и к празднику – гляди – сошьет ему сорочку, или по-здешнему «кошулю»; а постоялец чем может помогает по хозяйству: дров нарубит, лучин для светца надерет, воды наносит – и живет таким образом хлоп с солдатом весьма дружелюбно, уделяя ему и место за столом, и угол на печке, и часто "прощает*", т. е. дарит солдату его паек казенный.

Солдат сегодня к вечеру пришел на квартиру, а завтра утром первым делом устроил конюшню, на которой всегда стараются ставить хоть по паре лошадей, потому что, по замечанию кавалеристов, конь скучает и плохо ест, если один стоит. Затем раза два в неделю взводный вахмистр делает езду своему взводу, раза два соберет «грамотную команду» и «в книжку почитать» заставит, а остальное время у солдата свободно, за исключением утренней и вечерней уборки коня, задачи корма да водопоя: он себе и тачает сапоги, либо портняжит, либо столярит и через то кой-какую деньгу зарабатывает.

Но нет хуже для него стоянки, как у жидов на квартире, что неизбежно случается в местечках.

Еврейская семья может довольствоваться невероятно малой долей самой неприхотливой пищи: фунта два хлеба, селедка да несколько цибулек – вот и все дневное пропитание. Только к шабашу приготовят они себе пищу получше: шуку маринованную или фаршированную с перцем, кутель запекут; но это пища «ко-ширная», т. е. чистая, и солдату ее не дадут отведать. Вообще, солдату еврей не позволит сесть за тот стол, за которым сам он сидит с чадами и домочадцами: солдат ест «трефное», и все, что ни исходит от него, есть «треф», поэтому прикосновение к коширному столу, к коширной ложке, тарелке, к коширной посудине неизбежно «потрефит» их, т. е. осквернит и сделает негодными к употреблению. Для солдата евреи заводят особый горшок, в котором особо варят ему пищу, избегая по возможности даже в самой печи ближайшего соседства горшка трэфного с горшками коширными. Когда солдат ест, то свою посудину он должен поставить либо на лавку, либо на какое-нибудь особое приспособление, вроде скамейки, табурета, чурбана, но никак не на тот стол, за которым едят сами евреи; исключение допускается только в корчмах, где непременно имеются трэфные столы, предназначенные для нечистых «гоев», к числу которых относятся все, кто не суть евреи. В местечках живут иногда и не совсем-то бедные евреи, которые держат свои лавки, занимаются каким-нибудь более или менее определенного свойства «гандлом» и потому имеют возможность питаться чем-нибудь лучшим, нежели селедки и цибульки; и действительно, они несравненно менее отказывают себе в более лакомом и питательном куске; но опять-таки этот кусок никак не для солдата. Хлоп по крайней мере делится с солдатом тем, что и сам ест, жид никогда не поделится, никогда не отошьет долю своей похлебки из своего коширного горшка в

трефный горшок солдатский; для солдата он все-таки готовит особую пищу, и эта последняя несравненно хуже и скуднее его собственной. Горячую воду в горшке замутит еврейка ложкой муки, покрошит одну цибульку, кинет несколько картофелин – и предлагает это яство солдату. Любишь не любишь, а ешь, потому что есть хочется! Солдат вообще терпелив и редко когда жалуется; но постой у евреев иногда возбуждает между солдатами сетования и жалобы вполне справедливые.

– Уж не то обидно, – говорят они, – что кормят тебя черт знает какою бурдой, а то обидно, что эту самую бурду нет того, чтобы тебе поставили по-людски! – На, вот, мол, солдат, поешь, чего Бог послал; не взыщи, что пусто! Нет ведь, подлые! Сунут ее тебе под нос, словно как псу какому лядащему! Сама сунет, а сама так этта зирнёт на тебя, словно бы говорит: «На, жри, собака! Да подавись ты, окаянный!» Бот что обидно, коли по человечеству судить-то!

Это самое обстоятельство часто служит мотивом ссор между постояльцем и евреем-хозяином. Раз, помню, был такой случай: довольно зажиточный еврей – лавочник и домовладелец – долгое время кормил постояльца из рук вон плохо! Солдат терпел, терпел да и не выдержал: взял однажды свою посудину с бурдой да понес к эскадронному командиру: «Извольте, мол, посмотреть, ваше высокоблагородие, чем меня изо дня в день кормят!» Майор попробовал, и точно: мерзость была невообразимая! Призвал он к себе еврея-хозяина и внушил ему, что коли сам ешь вкусно, так и стыдно, и грешно обделять постояльца, который ничем не виноват, что ему довелось стать сюда постоем. Но еврею хоть кол на голове теши! Где бы урезониться, а он, кажись, еще хуже стал продовольствовать солдата. Тот терпит день, терпит другой, а на третий озлился, и только что ему ткнули под нос горшок с холодной бурдой, он попробовал, видит, что плохо, встал и, не говоря дурного слова, вылил сполна этот горшок на покрытую париком голову «мадам Пейсаховой». Евреи всполошились. Всполошился весь род их и племя, вся родня и знакомые! «А! сшволочь, тебе тэраз будут до Сибиру сшправляць! Гхарасшо!» – и идут всем кагалом жаловаться к эскадронному командиру; но здесь они встретили отпор, и отпор вполне справедливый, потому что взыскивать за самоуправство с солдата, который раньше этого употребил единственный оставшийся ему законный путь, с солдата, доведенного голодом до такого проявления своей досады, – едва ли было бы политично. Евреи хотели было подымать целое дело, но убоялись расходов на протори и убытки и потому остались при одних лишь угрозах.

Солдат не любит становиться постоем к еврею. И не столько оттого он этого не любит, что его там дурно кормят (дурно кормят и у хлопа, хоть и все же чуточку лучше), но не любит он «жидовского постоя» потому главнейшим образом, что у еврея он встречает какое-то гадливое и слишком презрительное отношение к своей человеческой личности. Еврей считает себя выше, чище, аристократичнее солдата, которым он думает всегда помыкать, если только солдат имеет такую недолую, что станет на еврейскую квартиру. В прежние годы в этих случаях употреблялся авторитет силы со стороны начальства: ныне он отнюдь не употребляется. В принципе оно очень хорошо, но на практике солдату приходится от этого гораздо плоше, чем прежде. Помочь горю можно одним: полной отменой широких квартир на обывательских хлебах и заменой их если не казарменным, то хотя бы тесным расположением с пищей из котла, причем солдат постоянно имеет на свою долго говяжий суп, щи или горох с четвертью фунта мяса и, кроме того, кашу с маслом или салом. Теперь мы зачастую являемся свидетелями таких фактов, что солдат в течение пяти, а иногда и шести месяцев зимней стоянки на широких квартирах принужден питаться одной вареной картошкой. Подумайте, насколько вследствие этого у нас увеличивается общий процент слабосильных людей! Весну и лето, довольствуясь из котла, солдат ест хорошо; но в это время у него и работы по горло, в особенности же в кавалерии, где надо о лошади думать прежде, чем о себе. Остается зима: где бы солдату поправиться, понабраться силы, а он ест одну картошку, да картошку, да тюрю с цибулькой, да кулешек, да затирку, а мясо видит только на Великий праздник, да и то не у всякого хозяина!.. И это –

почти общее свойство зимних стоянок Северо-Западного края. Конечно, встречаются иногда почти целые волости, как, например, Шимковская в Волковысском уезде, которые представляют собой исключение, но... это все-таки исключение, весьма счастливое и потому весьма редкое. В течение зимней стоянки эскадрон в отведенном ему районе меняет через каждые шесть-восемь недель места своего расположения: взводы переходят из волости в волость на новые квартиры, и это делается для того, собственно, чтобы не слишком обременять обывателей одной какой-либо довольно ограниченной местности. Один только «эскадронный двор» или «штаб» остается неизменно в одном и том же месте во всю зимнюю стоянку, например в Свислочи, в Великих Брестовицах, в Скиделе, в Закревщицне; взводы же непременно меняют свои квартиры в прилежащих окрестностях. Но солдату, за весьма несчастными исключениями, от этого отнюдь не лучше: везде и повсюду та же теснота, та же затирка и картошка, те же отвратительные гигиенические условия для жизни!.. И стало быть, выход из подобного положения только один: если не казарменное, то тесное расположение с довольствием из артельного котла. Широкое расположение имеет еще много и других неудобств, весьма существенных для военного дела: для грамотности, для развития и образования солдата в чисто военном отношении, для постоянной практики в военных упражнениях и проч. И как теперь, так и всегда, результат, естественно, будет выходить один и тот же: необходимость тесного, сборного расположения эскадрона или роты.

Итак, мы в Свислочи, среди обширной, четырехугольной базарной площади этого местечка, сплошь обставленной старинными еврейскими домами и домишками с высокими, острогребенными кровлями.

– Где же мне квартира отведена?

– А вот, пожалуйста, ваше благородие! – говорит, руку под козырек, наш квартирьер. – Пожалуйста со мною! Сюда вот, на Брестскую улицу! Под ваше благородие нам отвели у Кудлаковских.

Брестская улица представляет собою довольно длинный, прямой и широкий проспект, в конце которого вырисовывается силуэт католической каплицы с легкою башенкой, а по бокам ее двое каменных триумфальных арок, и над ними по сторонам возвышаются купы древних тополей, вязов и грабов. Такая улица – хоть и в губернском городе, так ничего бы себе. Белые деревянные домики с крылечками и беленые хатки, иногда с палисадниками, тянутся по бокам этой улицы. В одном из таких домиков помещается отведенная мне квартира.

Пан Кудлаковский – старый ветеран польских войск; у него имеются: «стара пани» – его супруга и две "дцурки* – довольно зрелые и некогда, быть может, недурненькие девы; у двух же дцурок есть «канарек у клятце» и «пантальоны», т. е. канарейка в клетке и древние, разбитые клавикорды, иногда с черными клавишами вместо белых и с белыми заместо черных, что не редко встречается в Свислочи; и все это есть у них непременно, потому что без «канарка у клятце», без олеандра на окне и без этих мафусаиловых «пантальои» невозможно даже и вообразить себе ни одного шляхетного дома в Свислочи.

Через темные сени вхожу в отведенную мне половину – бррр!.. – как это все здесь холодно, мрачно и неприглядно!.. Сам пан со своей семьей ютится в другой, удобообитаемой половине дома; мне же отвели половину, никогда никем необитаемую уже довольно долгое время и существующую почти исключительно для военных офицерских постоев либо же для склада на зиму кое-каких хозяйственных припасов. Мне за это, конечно, нет ни малейшей надобности – да нет и права быть в претензии на пана Кудлаков-ского; но темнота, холод и неприглядность все-таки остаются, и надо позаботиться о том, чтобы какими ни на есть судьбами изгнать их отсюда поскорее: в одном окне отбита часть стекла – заткнем его покуда хоть сеном. Двойные рамы не вставлены, и потому около оконных переплетов образовались ледяные бугры, запущенные снежным налетом и с виду напоминающие прекраснейший, рафинированный сахар; стены тоже покрыты серебрившимся снежным налетом. Видно, что комната

эта ни разу еще с лета не топлена и потому выстудилась и нахолодалась до того, что самые стены ее наружные насквозь промерзли. Послал к хозяевам за дровами.

– Не отпускают дров, ваше благородие... не желают!

– Поди и купи у них! Скажи, мы деньги сейчас же заплатим.

Пошел вестовой и через малое время вернулся.

– Пожалуйте деньги-с, ваше благородие... Неси, говорят, деньги, тогда отпустим... Злот за вязанку требуют.

Однако, не любезен же пан Кудлаковский: хотя, в сущности, и обязан бы по положению отопить мне комнату, но уж не говоря про то – ни за что ни про что и даже не зная меня вовсе, на одну вязанку дров не желает оказать кредита; видно, хочет выморозить постояльца-москаля вместе со своими тараканами. Выдал я два злотых и приказал на всякий случай притащить две вязанки. Мебели в квартире не оказалось никакой, за исключением чего-то вроде конторки или шифоньерки – вещь, которая решительно никуда и ни к чему не была мне пригодна в настоящем моем положении.

– Бочаров! Сходи к хозяевам и скажи, что я прошу прислать мне какой-нибудь стол и стул, что здесь даже сесть не на чем.

– Вежливо прикажете просить, ваше благородие? – отозвался вестовой.

– Внепременнейше вежливо! Никак не иначе!

– Слушаю-с!

Повернулся и ушел, а через минуту возвращается:

– Изволил просить, ваше благородие!

– Ну, и что ж?

– Я даже очинно великатно-с... но только аны не изволят соглашаться – потому, говорят, ничего у них лишнего нету.

– Поди еще раз и скажи, что они обязаны по положению дать мне необходимую мебель.

– Слушаю-с!... Но только... теперича...

Бочаров видимо запинался.

– В чем дело, братец?

– Да я... опять-таки насчет того, ваше благородие, как то есть на этот раз просить прикажете? Опять-таки вежливо-с?

– Да что это у тебя за вопрос, любезный! Как же иначе, если не вежливо?

– Напрасно-с, ваше благородие... потому они по чести ничего этого не желают, а все норовят как бы это с гвалту, чтобы жалиться потом на нас! Уж я ведь знаю ихнего-то брата!

– Ну, вот потому-то и проси вежливо! Вдвое, втрое, вдесятеро вежливей!

– Слушаю-с!

После пятиминутных переговоров Бочаров возвратился и как-то странно ухмыляется.

– Пожалуйте деньги, ваше благородие.

– Зачем?.. Какие деньги?

– Потому как я изволил вам докладывать, что они либо с гвалту, либо за деньги, а по чести никак не желают.

– Что это, братец, за вздоры ты рассказываешь?

– Никак нет-с, ваше благородие! – солидно стал оправдываться Бочаров. – Я у них просил, а аны говорят, у нас нету. Я им: как же, мол, нету, коли комнаты у вас полным-полненьки – и стулья и диваны? А это у нас, говорят, для своей, для хозяйской надобности; а что ежели вы, говорят, насчет закону, так мы, говорят, свой закон исполнили и этих самых меблов вам поставили.

– Где же эта мебель и куда они ее поставили?

– А вот этот самый чертов тычек, ваше благородие! – кивнул вестовой на стоявшую в углу шифоньерку. – А что ежели вам угодно брать, говорят, с гвалту, на разбой, так это мы со всем нашим удовольствием – хоть весь дом на клочки разнесите!..

Однаке я им на это докладываю, что силком их благородие не желают, а просят вас по чести. А по чести у нас, говорят, нету! А вы, говорят, либо с гвалту, либо за деньги в наймы – полтора рубля на месяц прокату.

Как ни странно было заявленное мне желание, чтобы мебель была взята мною насильно, но кто знает отношения местного мелкого шляхетства ко всяким представителям «силы наяз-дovej» в том крае, тот поймет и подкладку, затаенную сущность такого желания: возьми я насильно необходимую мне мебель – пан Кудлаковский ни к какому начальству, ни к какой власти не пошел бы на меня жаловаться; но он вместе с своею пани и паннами из всех бы сил принатужился и пошел трубить да благовестить на вся веси и дебри, ко всем, «родакам» и «знаемым», что вот, мол, каково наше положение! вот какое насилие! вот в каких условиях обречены мы влечить наше существование! и т. д. – в подобном же роде. Пан Кудлаковский имел бы случай, благодаря мне, очень долго изображать из себя жертву вечернюю, и увы! – этого-то счастливого случая я и лишил его!..

Принесли напрокат стол и два стула; затопили печку, но дым из нее повалил такой, что давай Бог только поскорее все двери настезь! Долго мы мучились с этою злосчастною печкой, пока-то наконец кое-как отогрелась она, но уж зато и накалили ж ее так, что хоть бы доброй бане впору. Закрыли выюшки – угар, и, снова дверь настезь. Самовар уже кипел на столе, но с сегодняшним утром вышли все мои съедобные запасы, а есть хочется. Знаю я, что в Свислочи обретается некая пани Генальска, у которой в прошлые стоянки «столовались» наши офицеры. Посылаю к ней вестового с деньгами и с просьбой сварить мне сейчас же ухи или супу (ибо трое суток питался, что называется, всухомятку) да заодно уж узнать, сколько возьмет она с меня в месяц за столованье.

– Не желает, ваше благородие! – докладывает, возвратись, мой посланный. – Совсем не желает!

Это начинало делаться досадным. Да и что такое, в самом деле, все и вся не желают да не отпускают, словно бы нарочно сговорились!

– Что же говорит она, – спрашиваю, – почему именно не желает?

– Да говорит, что... что ж мне, говорит, из-за тарелки супу ходить на базар, покупать говядину аль рыбу там, что ли, коли и базар уж давно кончился, и говядины, может, нету, да опять же дрова палить, печь затоплять, да варить, да и мало ли что... много хлопот, говорит, ваше благородие.

– Да ты сказывал ли ей, что ей деньги за это заплатят?

– Сказывал, ваше благородие, как не сказывать! И даже очинно явственно показал ей рублевую бумажку, что вы дать изволили, но только она все же не желает, хоть и деньги, потому, говорит, из-за пустяков хлопот больно много!

– Ну, а насчет столованья как?

– Да... насчет столованья-то... тоже почитай, что не согласна. Кабы, говорит, четверо аль пятеро их было, так она бы ништо, а для одного – хлопот много... Разве что, говорит, станут платить ровно что за пятерых, тогда пожалуй... Нет уж, ваше благородие, у этой Генальской – дух ея канальский... Я ведь уж ее знаю!.. Как есть лядащая баба, это так точно-с!

«Грустно, – говорю себе, как Горбуновский батюшка на панихиде, – очень грустно» – но ничего не поделаешь и сердиться нельзя, тем более что пани Генальска, со своей точки зрения, права совершенно, и для чего ей, в самом деле, хлопотать и беспокоиться ради совершенно постороннего человека, и притом москаля, когда эти хлопоты не принесут ей ровно никаких заметных, существенных выгод?

Надо, значит, самому о себе промыслить.

Вспомнил я, что, по рекомендации приказчика конной почты, в Свислочи есть «мадам Янкелева», которая «сшвой лявка держит з рижской вина и з увсшеким припасом». Не выручит ли хоть эта благодетельница рода человеческого, думаю себе. Посылаю за Мадам Янкелевой. Через несколько минут в смежной горнице слышится чей-то женский запыхавшийся голос и топот обтираемых и отряхаемых от снега ног – и вот, вслед за этим, в комнату ко мне вдруг, как чиненая бомба, влетает что-то коренасто-приземистое, широкоплечее, короткошее, задрипанное, зашленданное и грязное-распрегрязное.

– Здравствуйтесь вам! – возглашает это нечто запыхавшимся голосом.

– И вам здравствуйтесь! – отвечаю я и начинаю приглядываться: передо мной стояла и во весь широкий, крупногубый рот улыбалась, скаля прекрасные белые зубы, некая молодая особа женского пола, толстомая, толстомордая, с красными щеками, которые так и дрожали при каждом ее шаге, пылая несокрушимым здоровьем, – стоял этот крепыш-карапузик и, улыбаясь, глядел на меня маленькими, бегающими и смеющимися голубыми глазками.

Голова ничем не прикрыта, волосы, как стреха, встрепаны и в пуху, на плечах какая-то легонькая, порыжелая бархатная кофточка, в которой, очевидно, она так и прибежала сюда с улицы.

– Это вы-то и есть мадам Янкелева? – спрашиваю я, решительно не узнав ее в первую минуту.

– Я?.. Нет, извините!.. – громко засмеялась и затараторила она звонким, молодым, еврейско-гортанным голосом. – Нет, я же не мадам Янкелева, я – Лэйка Янкелювна, цурка мадам Янкелевой – мамзель Лэйка Янкелювна... Кохда ж ви не взнали мне? У мене ж еще есть брат Ицек и сестра Рашка, и Рашка вже замуж виходила, и тоже сшвой лявка держит с халсцинкой и с сшитцом и с увсшеким матэрьюм, и вже сшвой дитю вмеет... И кохда ви будице што пакипать с матэрьюв, то ви в Рашки пакипайте!.. Сшпизжалуста!

Тараторит – и здоровые щеки ее при этом трясутся, а сама все улыбается да белый и ровный ряд зубов своих скалит. Выражение довольно открытое, и лицо можно бы было назвать даже симпатичным, но – Боже, что за грязь, что за грязь, что за смоклая грязь! и что за запах! – на пять шагов так и разит «щилёдкем» и «щибулькем».

– Очень приятно познакомиться, возобновить то есть старое знакомство!

Мамзель Лэйка, стоявшая как тромбовка или тумба какая, вдруг делает кникс и видимо старается изобразить его не без кокетства.

– И мне так самож... Отчин давольна периятно!

– Ну, вот что, моя милая, мне ужасно есть хочется.

– Ой, и мне так самож! – смеется на это Лэйка. – Я вже пакушила, пакушила и вже знов кушить гхочитца!.. Как пакушию, так и зновь кушить!.. так и зновь!.. Сшлиово гхонорем!

– Что у вас есть в вашей лавке?

– Увсше есть.

– Ну, однако?

– Увсше, сшто ни сгхочите!

– А например?

– Щилётки есть.

– Ну, это по твоему запаху слышно, что она у вас есть. А кроме селедки?

– Сшир козлячий есть, сшир гхаляньсшки, сшардынки есть увсше есть... Ай нет! Жзвините! – вдруг спохватилась она. – Уже нима ни сшир, ни сшардынки, бо вже увсше пакипили од пана Родовицкего, од пана с Гобяты, от пани Глиндзич – увсше, увсше вже пакипили и ниц нима; толки сшир козлячий есть!.. Ютро будзьмы до Бялышток пасилац накупать товару, то на чвартек увсше будзиц у лявка! А до чвартек – ни!

– Ну, до четверга еще длинная песня! А не можете ли вы как-нибудь достать мне рыбы или говядины?

- Ри-ибы чи то гховьядины?... Мьяса? А на цо то мьяса?
- Сварить суп: или уху...
- Шюп чи то уши?... Можно й шюп, можно й уши, але ж на сшиводно вже не можна пакипити а ни мьяса, а ни рибы...
- Ну, да что же у вас есть, наконец, кроме селедок да козлячьего сыру?
- Увсье есть! – самоуверенно шмыгнула носом мамзель Лэйка и почесала всю пятерней с правого бока по юбке. – Увсье, сшто ни сгхочите!
- Это я уже слышал.
- А сшто ви сшлишал? – вдруг любопытно встрепенулась дщерь Янкеля.
- Что у вас все есть.
- А!., а я думала, сшто другово! – разочарованно мотнула она головой и стала перечислять припасы своей лавки. – Мигдал есть, розинки, павидло, цукаты, щиколяты, пераники розмайтых гатункев, увсье благхородны перипасы!.. Трухли есть!
- Как! Даже и трюфели!? – невольно изумился я.
- А так! Есть и трухли! – не без гордости похвалилась Лэйка.
- Да откуда ж оне у вас?
- На-асши... тутейши! Их тут зе псом шукают...
- Как это зе псом?
- А так. Пьес гходит до лясу и увсье нюгхает, нюгхает из носом сшвоим по земю – и увсье так нюгхает и напотом роет, роет сшебе и з лапом сшвоим – увсье так роет и знагходит трухло!.. А мы вже напотом егхо препаруем и отпушскаем до предажи. Мозже гасшпидин спиручник трухли гхоче?
- Коли другого нет ничего, неси хоть трюфели, пожалуй!.. Да нет ли еще хоть яйц то у вас?
- Яйки?... А як зже-жь!.. Яйки – яйки есть! А сшколки яйков гхля пана?
- Десятка три неси: мне надо и вестовых моих накормить.
- Зараз, зараз, гасшпидин спиручник зараз! – замахала руками Лэйка и бомбой стремительно вылетела из комнаты.
- Эк ее прет-то! – процедил вослед ей Бочаров из другой комнаты.
- Вскоре явились у меня яйца, масло, трюфели и несколько жидовских булок, посыпанных своеобразно ароматическим семенем чернушки.
- Вестовые мои устроили какими-то судьбами, что хозяева позволили распалить в своей печке два-три полена под таганкой, благодаря чему мы могли сварить трюфели на вине (благо, у меня был запас с собою) и выпустили яйца на сковородку. Этою-то яичницей да трюфелями с маслом я и был сыт, вместе с вестовыми моими. Только нельзя сказать, чтобы трюфели особенно понравились солдатам, потому что на другой день, после обеда, состоявшего точно так же исключительно из трюфелей да яичницы, улегшись на постели, я слышу, как вестовые мои едят в другой комнате и между собой разговаривают:
- Эка, подумаешь, прости Господи! Что это об иной час есть-то только приходится! – говорит Бочаров.
- А что? – отзывается ему рейткнехт Алешин.
- Да как же!.. Вдруг этта теперича – вареная гнилушка с дерева!.. И как это только господа могут ее есть, ей-богу!.. Чудно, братец ты мой! И какой в ей скус? Ну, вот, как есть гнилушка с березы!.. Право!
- Бочаров! – крикнул я его в свою комнату.
- Чего изволите, ваше благородие?!
- Что, брат, не нравится кушанье-то?
- Стоит и ухмыляется.
- Никак нет-с, ваше благородие, потому скусу в ем никакого...

– Ну, а французы, брат, за эту самую гнилушку большие деньги выручают: рубля по три маленькую баночку берут.

– И нешто им платят, ваше благородие?

– Да еще как платят-то! Это самое что ни есть дорогое кушанье, а тебе вот не нравится!

Стоит мой Бочаров и недоверчиво ухмыляется по-прежнему.

– Шутить изволите, ваше благородие, – ласково произносит он наконец, еле удерживая веселый смех, и – налево кругом выходит из комнаты.

Так мне и не довелось убедить Бочарова в тонком гастрономическом достоинстве трюфелей.

II. Базарный день в Свислочи

Часть 1

Каждый воскресный день в Свислочи с раннего утра подымается особенное движение. Жидки торопятся выслать своих «агэнтв» на все выезды и ближайшие перекрестки дорог, ведущих к местечку. Это в некотором роде сторожевые посты «гандлового люду». Но зачем такие посты нужны свислочскому люду гандловому? Нужны они затем, чтобы перенимать на дороге крестьян, доставляющих на базар свои сельские продукты. Везет себе белоголовый хлоп на своем возу «каранкову», а то и целую «корцову» бочку «оброку» или «збожа»¹ и уже рассчитывает в уме своем предстоящие ему барыши, как вдруг на последнем перекрестке налетает на него с разных сторон ватага еврейских «агэнтв». Хлоп моментально оглушен, озадачен и закидан десятками вопросов, летящих вперебой один другому: «А что везешь? а что продаешь? а сколько каранков? а чи запродам вже кому? а чи не запродам?» Хлоп не знает, кому и что отвечать, а жидки между тем виснут к нему на задок, карабкаются на воз, лезут с боков и с переду, останавливают под уздцы лошаденку, тормозят ошалелого хлопа, запускают руки в овес или в жито, пробуют, смакуют, рассматривают, пересыпают с ладони на ладонь и при этом хают – непременно, во что бы то ни стало хают рассматриваемый товар, а другие – кто половче да поувертливее – насильно суют хлопну в руку, в карман или за пазуху сермяжки кое-какие деньжонки, и не столько денег, сколько запросил хлоп, а сколько самим вздумалось, по собственной своей оценке, которая, конечно, всегда клонится к явному ущербу хлопа, и если этот последний не окажет энергического сопротивления с помощью своего громкого горла, горячего кнута и здоровых кулаков, то та партия жидков, которой удалось, помимо остальных агентов, всунуть в руку продавца сколько-нибудь деньжонок, решительно овладевает и хлопом, и его збожем, и его возом. Один из одолевшей партии вырывает уздцы лошаденки из рук своих противников, что неизбежно сопровождается еврейским галласом, гвалтом, руготней и дракой; а другие в это самое время, взгромоздясь на крестьянский воз и нависнув на него с боков, овладевают, как можно скорей, кнутом и вожжами, третьи отпихивают и в грудь, и в плечи, и в зубы, и куда ни попало азартно наступающих агентов всех остальных партий; и все это, разумеется, происходит при оглушающем гвалте. Но чуть лишь передовому бойцу удалось высвободить уздцы и оглобли, как вожжи и кнут начинают немилосердно хлестать лошаденку, которая, побрыкавшись малость, с места пускается вскачь, а жидки за нею и рысью, и галопом, подобрав полы хламид своих: «Ой-вай! Ховай Божже!» Передовой боец, вприпрыжку, охраняет уздцы и оглобли от новых враждебных покушений, за что беспрестанно попадает то в спину, то в шею. Возница, овладевший вожжами, дергает и понукает клячонку, отмахиваясь кнутом на все стороны, остальные же с понукательными криками «Фаар!.. фар-фар!»² с высоты с бою взятого воза спихивают цепляющихся за «дробины» жидков и, наконец, удаляются с торжеством победителей от преследующего неприятеля, который, видя уже, что дальнейшее преследование будет вполне бесполезно, ограничивается одной крупной перестрелкой брани, посылаемой вдогонку противнику, торжествующему свой новый «вигодни гешэфт». Хлоп тоже пытается протестовать против победителей, но те не слушают его и знай себе гонят клячонку и в хвост, и в гриву, направляя ее прямехонько-таки в ворота своего собственного «заездного дома». Чуть лишь въехали в глубину двора – ворота тотчас же на запор – и недоумевающий, одуре-

¹ Каранковая бочка вмещает 112 казенных гарнцев, а корцовая 156. Оброк – овес, збож – жито, рожь, вообще хлебное зерно

² Пошел, поезжай!

лый от гвалта и галласа хлоп оказывается в буквальном плену у своих победителей. Кричи и ругайся тут себе сколько хочешь – никто тебя не услышит, никто не явится на выручку, ибо запертые двери и ворота налагают на хлопа полный арест и преграждают к нему путь какой бы то ни было выручке и подмоге. А станет хлоп много артачиться – жидки и побьют его, так недорого возьмут – ступай, ищи потом с них, коли битье без свидетелей было!.. Но бить хлопа – это уже крайность, прибегать к которой жидки не любят, имея в виду возможность возмездия, которое рано ли поздно ли, может наступить для одного из их компании со стороны односельчан оскорбленного хлопа. Для жидков гораздо выгоднее ласково, но немилосердно обобрать хлопа и остаться с ним добрыми – «шршия-целками» – «каб и на пршуд од него гхароший гандель ийметь». В силу этих соображений составляется обычная стратегема следующего рода: прежде всего жидки торопятся сбросить на землю мешки с овсом или житом, лишь бы только скорей с возу долой, дабы потом иметь ясное доказательство, что товар уже продан, на тот случай, если бы несговорчивый хлоп вздумал упинаться и если бы какими-нибудь (впрочем, весьма трудными) судьбами удалось ему прибегнуть к помощи власти или постороннего люда. Последние случаи весьма редки, но прозорливый еврейчик всегда уж ради собственного спокойствия постарается оградить и обезопасить себя и свое дело со всех возможных сторон. Затем, прежде чем приступить к отмериванию и пересыпке купленного товара, жидки подносят хлопам в виде угощения или магарыча один и другой, а то, случается, и третий келих водки, и только тогда, как заметят, что добрая порция хмелю забрала уже голову хлопа, наведя на него некоторый дурманыющий туман с соответственной дозой сердечной мягкости и благодущия, они приступают к мере и пересыпке. Пока одни меряют, пересыпают да отсыпают, другие стараются разными приятными разговорами и расспросами отвлечь внимание хлопа от совершаемого дела, и этот маневр всегда почти удается им как нельзя лучше. Зерно умышленно просыпается из меры на землю и спешно подметается метлами в какой-либо укромный угол, ибо просыпка этого рода в общий счет не идет, хотя в конце концов и составит собою несколько лишних гарнцев, дающих возможность к лишнему гешефту. Слова «корец», «каранка», «шанек», «полко-рең», «двещерци», «две шуснастки», «усьм лахурков», изображая собою различные величины установленных обычаем мер – величины крайне сбивчивые при их смешении и почти невозможные для вычисления точного отношения одной меры к другой, – градом сыплются из уст отмерщиков и окончательно сбивают с толку одурелого хлопа, который знает, что все эти меры точно существуют, но никак не может сполупьяна сообщить, что восемь лахурков осьмины совсем не идут в один счет и вперемешку с четырьмя цверцами корца; он только чувствует, что «жидюги» волей-неволей «закрутили с ним гешэфта» и теперь обьегоривают его на чем свет стоит, «во всю свою господарску волю»!.. Но вот перемерка да пересылка окончена, оброк спешно убран в еврейские амбары, и хлоп, ощущая ничтожность насильно всунутого ему задатка, начинает требовать окончательного расчета; но евреи с крайним удивлением отвечают, что деньги-де уже получены им сполна, что никаких более расчетов нет и что надо, дескать, Бога не бояться, требуя с них вторично уже полученную плату. При этом для окончательного ублагодущенья хлопа ему иногда подносится еще один келих водки; а будь хлоп упинается – то расправа с ним коротка; ворота настежь, оглобли поворочены к – в шею! Озадаченный, раздосадованный, разочарованный и огорченный хлоп посмотрит жалостно на доставшиеся ему скудные гроши, перекинет их раздумчиво с ладони на ладонь, почешет за спиною и, сообразив, что на такую ничтожную сумму не приобретешь ничего путного для своего хозяйства, махнет рукой и повернет до корчмы, где и спустит до конца всю свою злосчастную выручку.

Так вот для каких гешефтов гандловый люд посылает за околицы и на перекрестки своих агентов. Эти агенты разными: маневрами стараются один перед другим скрытно и незаметно пробраться на более отдаленные от местечка пункты, дабы, заняв там выгодную позицию, пере-

нять подъезжающего хлопа ранее своих конкурентов, и из этого выходят у них тоже бои немалые.

Но что за цель и что за выгода у гандлового людя отбивать товар с бою на перекрестках, вместо того чтобы спокойно покупать его на базаре? Эту цель и эту выгоду я поясню сейчас же.

Коль скоро в каком-либо местечке расположен на зимних квартирах «эскадронный двор», то гандловый люд всячески старается не допустить эскадронного командира и фуражмейстера до непосредственных сделок с хлопом – продавцом овса. Евреи всегда набиваются на то, чтобы заподрядиться как-нибудь с эскадроном на оптовую поставку овса и сена; но для эскадрона, в свой черед, несравненно выгоднее бывают непосредственные сделки с самими продавцами, так как тут весь товар на виду со всеми его качествами, да и покупается он из первых рук гораздо дешевле. Если же командир, отвергнув посредство еврейской поставки, оплошает почему-либо в базарный день запастись вполне нужным ему на неделю количеством овса, то жидки скупают весь овес сполна и тогда уже сами наложат на него такие цены, с которыми не в состоянии будет потягаться самая высокая казенная «справка», а эскадронный и ездит тогда по помещикам, хлопочи да выбивайся из сил, добывая нужное количество фуража! Ввиду возможности такого «гешэфта» жидки и стараются изо всех сил не допустить хлопа до базарного места и захватить его на предупредительных пунктах, дабы через то явиться самим, по возможности, господами дела и устранить конкуренцию эскадрона, ибо эта конкуренция для них во всяком случае очень опасна: эскадрон всегда купит честно, не обижая хлопа, с обоюдной выгодой как для себя, так и для продавца, а очевидность выгоды влечет этого последнего к прямой сделке "с войсковыми" и, стало быть, выбивает его из-под гнетущего экономического влияния еврейской насильственной эксплуатации, самих же евреев лишает хорошего «гешэфта».

Таковой способ действий гандлового людя заставляет и нас в свой черед высылать партикулярным образом маленькие команды на передовые посты, за околицы и к перекресткам. Назначение этих команд – в два, три или четыре человека каждая – состоит в том, чтобы оберегать, по возможности, хлопа от жидовских насилий и посягательств, чтобы не дать жидкам насесть на крестьянский воз, а самим проводить его мирным порядком в местечко, до базарной площади. Главные внушения вахмистра направлены при этом на одно – всячески избегать драки с жидками, которые в свой черед стараются затеять побоище, дабы заручиться существенными доказательствами, вроде порванных лапсердаков и расквашенных физиономий, при помощи которых затеять с эскадроном бесконечные кляузы. Для подобных экспедиций люди выбираются надежные, смышленные, рассудительные, при известной внушительной наружности, и благодаря этому наше оберегание хлопов проходит всегда почти благополучно. Такой образ действий с нашей стороны проливает в еврейские сердца горечь и злобу против нас немалые и вселяет в них мысль о мщении разными каверзами, что иногда и удается им приводить в исполнение. Так-то вот и воюем с ними из-за хлопского «оброка».

* * *

Базарная площадь все более и более покрывается хлопскими полукошиками. Этот полукошик есть не что иное, как плетеное из прутьев лозы подобие корзины – полукорзинка, если перевести буквально. С одной стороны плетенка загибается вверх настолько, что образует спинку, или задок, в который можно упереться спиной, по самую шею; другая, противоположная сторона, т. е. передок, загибается уже не имеет, а от спинки к передку идут, постепенно суживаясь, боковые лопасти плетенки, которые у передка смыкаются с плетеным ее днищем полукошика. Такой-то полукошик ставится летом на колеса, а зимою на полозья и служит нехитрым экипажем для хлопа на всем Чернорусьи. Каждый почти хлоп, едучи «до церкви або до кosciолу», забирает с собою и свою бабу, которая, обмотав себе голову червоную хусткой и ухит-

рившись, в силу обычной моды, устроить из этой хустки какие-то рога, торчащие с боков над ушами, сидит себе на задку полукошика в овчинном колушке или в сером «сукмянце» и улыбается всем своим круглым курносым лицом, потому очень уж довольна, что «чоловик узюу ее у люды». Сам «чоловик» сидит, скорчившись, на передку и правит маленькой рыжей лошадейкой, а сзади непременно уже увязался и бежит по дороге, не отставая, их дворовый пес – какой-нибудь Рябко, Серко или Чернушка. Пока «чоловик с жонцей» будет стоять в церкви за обедней, Рябко взберется на сено в полукошик, сядет на хозяйское место и, ни за что не сходя с него, станет самым добросовестным образом сторожить хозяйское добро – так уж приучены сызмала все эти Рябки с Серками. Базар начинается только после обедни, и потому все те возы, которым удалось избежать еврейской атаки на передовых постах, скучиваются со всеми своими продуктами и изделиями на площади около высокого каменного обелиска с золоченым шпилем, который некогда был воздвигнут здесь Бог весть для какой надобности прежним владельцем местечка, графом Тышкевичем. Иные из мужиков остаются «доглядывать» свое добро, буде Серко запропал куда, или: не найдется добрый сосед знакомый, на которого можно было бы покинуть воз; но замечательно, что баба никогда сторожить не останется: она всегда идет «до церкви», ибо и вырядилась-то она в «квятну хустку» и «пацюрки»³

³ Цветной ситцевый платок или кусок белого холста, служащий головным Убором, и стеклярусные бусы – «пацюрки» – составляют обыкновенный праздничный наряд чернорусянки

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.